6

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1931 г. НА ЖУРНАЛЫ:

Иллюстрир. журнал ЦК ВЛКСМ и ЦСОПТЭ

На суше и на море

Год издания 3-й

Выходит 36 номеров в год

И. о. отв. редактора Л. М. Гурвич

Редакц. коллегия: Е. Родзевич, В. Пронин, Л. Гурвич, М. Шухгал, С. Гехт

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год . . . . 4 р. 50 к.
на 6 мес. . . . 2 „ 25 „
на 3 „ . . . . 1 „ 15 „
Отдельн. номер . 15 „

Журнал рассчитан на туристский актив и на массового читателя

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ЮНОШЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

Орган ИК КИМ и ЦК ВЛКСМ

Отв. редактор А. В. ФРУМКИН

Редакц. коллегия: Р. Хитаров, А. Косарев, А. Фрумкин, А. Троицкий, Ф. Фюрнберг, А. Маркупи, А. Старевич, Э. Ценцинер

Год издания 3-й

ВЫХОДИТ 12 НОМЕРОВ В ГОД

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год . . . . . 4 р.
на 6 мес. . . . . 2 р.
на 3 мес. . . . . 1 р.
Отд. номер . . . —40 к.

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ во все отделения, магазины, филиалы и киоски Книгоцентра, уполномоченным, снабженным соответствующими удостоверениями, и на почту.

ПАМЯТЬ,

ее недостатки и меры к их устранению, необходимо каждому

Д-ра мед. Г. Д. НИФАНТОВА

Новое изд. 1931 г. с рис. Ц. 2 р. 25 к.

ЕВГЕНИКА

Проф. Т. И. ЮДИН

Учение об улучшении природных свойств человека

288 стр. Ц. 3 р.

ФАБР Л. — Рабвель. Роман, перевод с французского. Ц. 1 р.

Роман дает бытовую картину современного французского капиталистического общества.

ФАРБС Р. — Мемуары марокканского султана Райзули. Ц. 80 к.

ЛОНГЕ Ж. — Террористы и охранка. С предисл. Ж. Жореса. Ц. 50 к.

Книга дает яркое и живое описание деятельности „великих“ провокаторов и в частности детально рисует жизнь и работу Евно Азефа. Много места уделяется также Борису Савинкову.

Книга читается с захватывающим интересом.

САНДАР Б. — Золото. Роман. Перев. с франц. Ц. 25 к.

ШТЕРНГЕЙМ К. — Джимми Ферфакс. Ц. 10 к.

Злободневная сатира на соврем. американского миллиардера, ищущего развлечений в Европе.

ЛОНДОН Дж. — Юконские рассказы. Ц. 40 к.

Полный список удешевленных книг смотрите в № 12 журнала „Огонек“ от 1 мая и № 12 журнала „Красная нива“ от 1 мая.

Все книги высылает без задатка наложенным платежом книжный магазин „Прометей“. Москва, ГСП 10. Моховая, д. 26.

Борьба Миров

1931
№ 6
июнь

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОМАНТИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ ФАНТАСТИКИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Стр.

Евгений Мандель — Второе рождение Ролло Уорда 2

И. Наканиси — Детство Дэнсаку 13
Иллюстрации худ. Г. Фитингофа.

М. Жестев — Письма Джека Лондона 27

М. Зуев-Ордынец — Колхоз и курганча . . . 36
Иллюстрации худ. В. Рождественского.

С. Хмельницкий — Необыкновенные приключения 46
Иллюстрации худ. И. Ец.

Лион Фейхтвангер — Свастика 60
Иллюстрации худ. Л. Канторовича

Обложка (к очерку „Письма Джека Лондона") художника **Б. Кожина**

Рукописи, присылаемые в редакцию журнала, должны быть четко переписаны на одной стороне листа. К рукописи необходимо прилагать точный адрес автора.

Адрес редакции: Ленинград, проспект 25 Октября, 28.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ РОЛЛО-УОРДА

Евгений Мандель

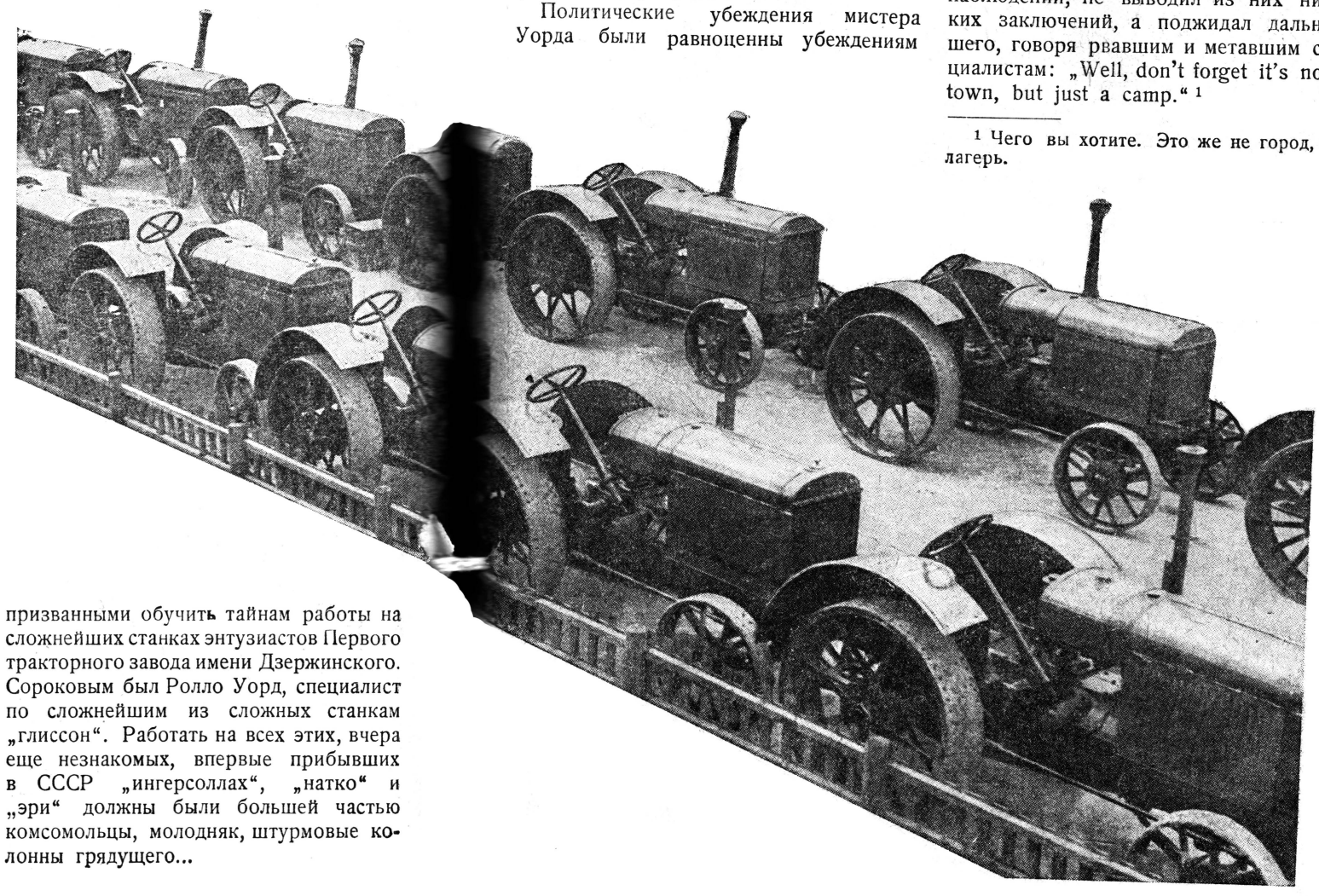
1. ПРИЕЗД

Произошло это в июне 1930 г. в пропитанном летним зноем, пропыленном вековыми песками Сталинграде. К пристани № 7, где надпись: „Пароходы идут вниз“, подошел колесный „Володарский“, оглушая пассажиров пронзительным визгом сирены. Сложными, малопонятными для непосвященных маневрами промыкавшись добрых десять минут, пароход окончательно задержал свой бег и начал мерно выплевывать из разбухшего брюха тех, кто в Нижнем или Рыбинске доверились его могучим колесам. Вылезали бабы, перегруженные тюками и корзинами; несколько экскурсантов, безбагажных и восторженных, заштурмовали представителя ОПТЭ; „плавающие и путешествующие“ до Астрахани бегали по берегу в поисках яиц, масла и воблы.

И вдруг по толпе, сгрудившейся на дебаркадере № 7, прошелестел легкий вздох удивления. Ловкие пароходные матросы, внешне даже не напрягаясь, тащили на несгибающихся спинах невиданные заморские сундуки, каждый сундук в человеческий рост. Обитые медью, обшитые добротной кожей, залепленные иностранными наклейками, они резко отличались от своих советских родственников — фибровых чемоданчиков, плетеных корзиночек. В них была фальшивая красота капиталистической конкуренции, лицемерие недолговечных вещей.

А потом толпа ахнула вторично. По узкому трапу, колыхаемые ветром и своей собственной значительностью, спускались невиданные, незнакомые советскому обывателю люди,—мягкошляпые, широкобрюкие и поразительно, по-иностранному, спокойные. Худые и полные, высокие и низкие, курящие сигары и курящие трубку, они ничем не напоминали сталинградцев. В их глазах светилась самоуверенность, в их походке чувствовалась непоколебимая англо-саксонская самовлюбленность. И, пропустив перед собой тридцать девять элегантных янки, сороковым шел чрезвычайно толстый, исключительно улыбчивый и добродушный человечек с глазками-щелками и необъятным животом — мистер Ролло Уорд, 120 килогр., как он на следующий же день отрекомендовался в иностранном отделе Тракторостроя.

Сорок иностранцев, вспугнувших невозмутимость пристанских милиционеров, были американскими специалистами



призванными обучить тайнам работы на сложнейших станках энтузиастов Первого тракторного завода имени Дзержинского. Сороковым был Ролло Уорд, специалист по сложнейшим из сложных станкам „глиссон“. Работать на всех этих, вчера еще незнакомых, впервые прибывших в СССР „ингерсоллах“, „натко“ и „эри“ должны были большей частью комсомольцы, молодняк, штурмовые колонны грядущего...

* * *

Первые недели пребывания иностранных специалистов на Тракторострое отнюдь не свидетельствовали о нашей организованности и умении их использовать. Начиная с трехчасового ожидания грузовиков на пристани и кончая отсутствием подушек и матрацов, все нервировало иностранцев и вызывало пересуды о нашей „некультурности“ и „неумении обслужить иностранных специалистов“. Большинство прибывших американцев принадлежало к верхушке рабочей аристократии, не испытавшей еще к тому времени всех ужасов капиталистической рационализации и гуверовского „процветания“.

Политические убеждения мистера Уорда были равноценны убеждениям остальных иностранцев. Он ни в какой мере не был „красным“, и правительство Америки могло спокойно снабдить его иностранным паспортом, не боясь того, что он занесет в Соединенные штаты „растлевающую проповедь большевизма“. Одним словом, мистер Уорд ничем не отличался от большинства своих товарищей, и в первые недели своего пребывания в Сталинграде не меньше, чем они, ругал и поругивал нашу неорганизованность, наше неумение наладить снабжение иностранцев продуктами питания, предоставить им благоустроенные квартиры. Но, не в пример наиболее ретивым американским злопыхателям, он не обобщал своих наблюдений, не выводил из них никаких заключений, а поджидал дальнейшего, говоря рвавшим и метавшим специалистам: „Well, don't forget it's not a town, but just a camp.“ [1]

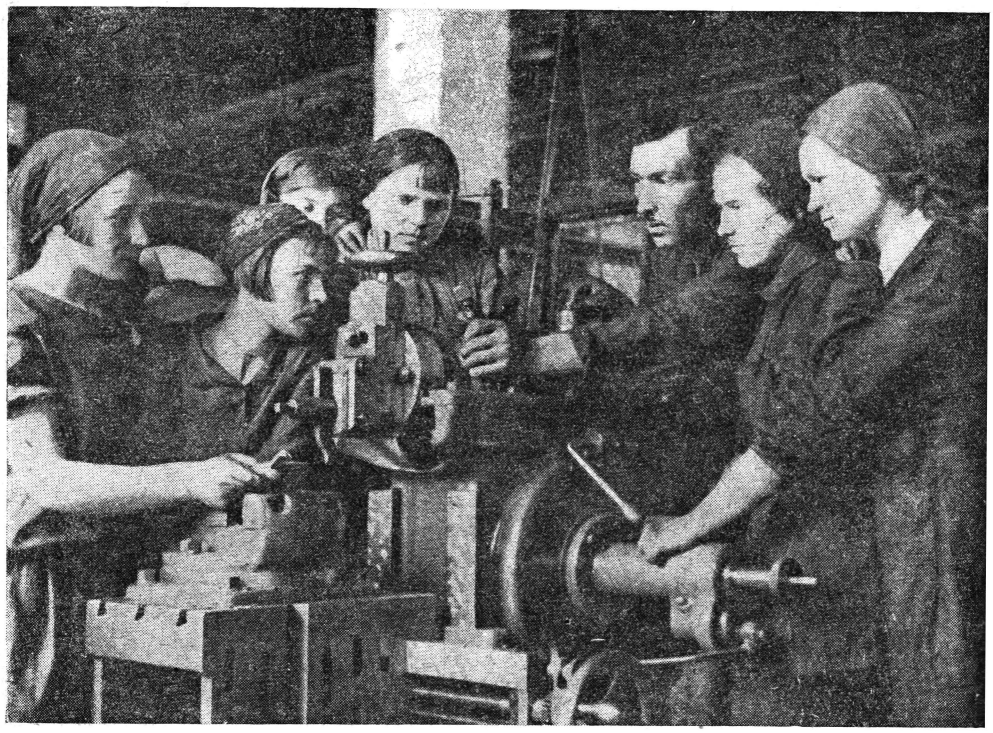
[1] Чего вы хотите. Это же не город, это лагерь.

И тем не менее на первом же собрании, где обсуждались вопросы участия американцев в общественно-политической жизни завода, мистер Уорд встал и, с трудом поддерживая на ногах свои 120 килограммов, продекламировал: „Не забудьте, господа, что нас пригласили сюда работать, а не митинговать. Мы не ораторы, и политика нас не интересует. Я лично могу про себя сказать, что ни один дьявол меня ни в какую политику втянуть не сумеет. Я—американский гражданин, и социализм от меня далек".

2. ПЕРВЫЕ ШАГИ

Гремя колесами, подлетали к самому цеху платформы. Красивые ящики, обшитые первоклассным лесом и снабженные всевозможными иероглифами и надписями, выстраивались рядами. Автомобиль-кран, шурша резиной шин, нежно подхватывал очередной ящик под мышки и, ласково раскачивая его, направлялся в цех к заранее уготовленному месту. Из цеха выбегали усталые от непрестанной работы, но горящие производственным энтузиазмом люди и, бешено жестикулируя, что-то кричали не своим голосом. У третьих контрольных ворот стояла группа молодых ребят,—некоторым нельзя было дать больше 16 лет,—и покатывалась от хохота. А смеяться было над чем: толстый, неуклюжий „Ворд" с трудом взбирался на платформы, цепляясь за них руками и ногами, с непостижимой для его тучности быстротой бегал взад и вперед, влезал на ящики, разбирался в иероглифах и подчас, найдя нужное, оглашал воздух торжествующим ревом: „глиссон" „глиссон", после чего на ящике появлялся новый значок, намалеванный красным карандашом.

Грузовик „Эл-Эл-Паркер" подкатывался к отмеченному ящику и через специальные ворота лихо въезжал в огромный, переплетенный стальными перекрытиями цех. Там, где большой плакат:



Бригада учениц-строгальщиц изучает сложный строгальный станок

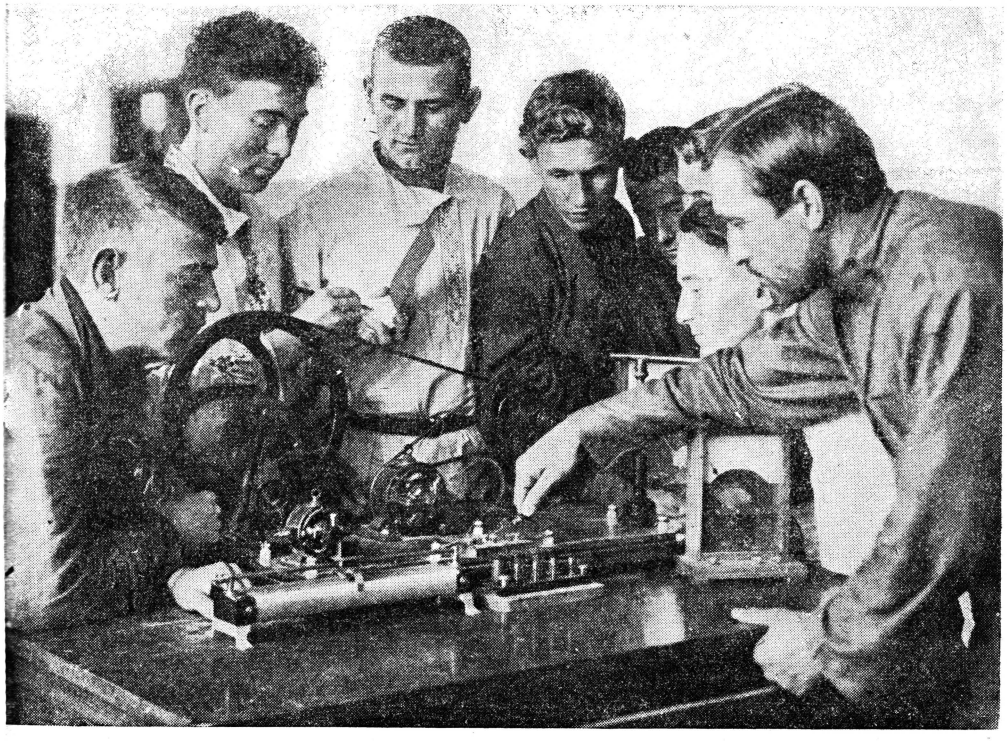
„3-е отделение“, ящик осторожно спускался на землю, и на него яростно набрасывались люди с ломами и гвоздодерами в руках. В течение каких-нибудь пяти минут со станка спадали одежды, и новенький „глиссон“, поблескивая стальными частями, становился в строй. Выскакивавшие откуда-то сбоку люди вбивали болты, закрепляли гайки, электротехники возились над моторами, вдувая в них жизнь, начальник отделения бегал от станка к станку, волнуясь и отфыркиваясь от острого возбуждения. Но над всем царил Уорд, неповоротливый Уорд, мечущийся толстяк, смешной американский чудак, знающий лишь два русских слова: „скоррэй“ и „да, да“.

Уордом заинтересовалась бригада комсомольцев, которой предстояло работать на „глиссонах“. Среди ребят шли постоянные беседы о чудаковатом иностранце. Его работу все заметили, все видели, что он не выходит из цеха, чуть ли не ночует в нем. И своим классовым чутьем ребята поняли: такого приблизь к себе, сделай ему понятными наши задачи и цели—и он небо перевернет. Решительный Биргер, маленький, невзрачный Конов и многие другие решили, договорились: Уорд — работник „на большой палец“.

* * *

Станки установлены. Громадная махина, названная Первым тракторным заводом имени Дзержинского, заработала. С перебоями затарахтело заводское сердце. И хотя все еще разгружаются ящики, все еще отрываются доски, но первая очередь станков—на местах: „ингерсоллы“ буравят блоки мотора, „блиссовские“ прессы режут железо, зуборезные изготовляют шестерни.

Несмотря на трехмесячную подготовку, парни на „глиссонах“ чувствуют себя новичками. Станков не знают, работать на них не умеют. Конечно, рычажок повернуть всякий дурак сможет,



Лучшая ударная бригада учеников-токарей за учебой

но так работать не интересно. Авария случится, остановка какая-нибудь, а ты даже не знаешь, в чем дело, объяснить ничего не можешь, исправить не в состоянии. Это никуда не годится. И решили обратиться к Уорду. Нашли переводчицу. Пришли гурьбой. Сказали: так и так, мистер Уорд, без систематической учебы ничего не сделаем, из деревни ведь мы, т. е. большинство из нас. Потому просим: уделите часть вашего времени учебе. Покажите нам все: где, например, можно пальцем тыкать, где нельзя. Что куда, как инструмент вставлять и вообще. Но только чтобы без обмана. Мы обещаем учиться, учиться будем. Но уж и ты, браток, нас не подведи. Да, так да. Нет, так тоже нет!

Переводчица что-то закудахтала на своем наречии. Уорд пару раз пролаял, ну, совсем собакой: хау хау, [1] а затем головой закивал и глазками засверкал. „Да, да“,—говорит по-русски (больше не знал ведь ничего) и руками к ребятам лезет, руки им жмет. Остальное—все технические подробности были. Договорились быстро. И через какую-нибудь пару дней закипела настоящая большевистская работа.

3. КОММУНА „СМЕНА“

По самой середине пролета повис большой плакат: „Производственно-бытовая коммуна „Смена“. Ребята, работающие на зуборезных станках решили коренным образом разбить устоявшийся быт и на смену собственническому „вчера“ установить коммунальное „сегодня“.

Не легко это далось. Были сомневающиеся, были и противники. Заседали комиссии, происходили бурные собрания. Но коллектив, крепко спаянный молодым задором и классовым сознанием, поборол все препятствия. Постановили: как в быту, так и на производстве — ничего индивидуального. Зарплату в общий котел. Жить коммуной. Быт устроить по-новому, организовать кружки самообразования, устроить красный уголок, наладить на дому техучебу, разумные развлечения, научно поставленный отдых. Постановили—выполнили. С организацией комсомола договорились. Получили необходимую поддержку. Работа закипела.

В цехе Уорд заинтересовался: что за необъятный плакат такой? Позвал переводчицу, перевести просил. Переводчица напрягла все мозговые способности и перевела. Но это Уорда не удовлетворило. Что такое коммуна? — спрашивает. Коммуна — это ведь когда-то в Париже было. А как же коммуна в цехе? Какая может быть коммуна на дому?

Уорд крепко интересуется, задает переводчице цепкие вопросы. А та жмется, мнется, сама понимает плохо. Коммуна, говорит, это когда все как-то сообща. А в чем подробности, говорит, не знаю. Да это, в общем, и не особенно интересно, мистер Уорд. Вы мне лучше расскажите о прекрасном Нью-Йорке. Как там все хорошо одеты. Как спаржу в запаянных банках продают.

Но мистер Уорд в данное время спаржей не особенно интересуется. Почему-то крепко его захватил вопрос о коммуне.

— Let's go to the boys, — говорит он, — they'l explain. [2]

И ровно в 11½ ч. утра, в обеденный перерыв, произошло первое приобщение американского гражданина Уорда к основам политграмоты. При помощи спотыкающейся переводчицы группа комсомольцев, инициаторов организации „Смены“, объяснила недоумевающему толстяку, в чем смысл их начинания, к чему стремятся молодые коммунары.

Мистер Уорд очевидно понял. По крайней мере, по мере развертывания рассказа, его широченное лицо все чаще расплывалось в довольную улыбку и учащались вопросы, задаваемые им коммунарам. Уже прозвучал дробный звонок, возвещавший начало работы, а „лекция“ все еще продолжалась. Наконец

[1] Как, как?

[2] Пойдемте к ребятам. Они объяснят.

один из ребят прервал очередного „оратора“ и сказал: „Ребята, эй ребята, кончать пора: работать надо“. И поскольку мистер Уорд уже понимал значение слова „работа“, он встрепенулся, пожал коммунарам руки и сказал:

— O. K. boys! I thiuk you're on the right way! [1]

* * *

С этих пор мистер Уорд стал зорко присматриваться ко всему, что творилось в его пролете. Он начал подмечать многое такое, что прежде, по всей вероятности, ускользнуло бы от его наблюдательности. Нельзя было не отметить того, что тот самый труд, который в его стране был делом утомительным и необходимым лишь постольку, поскольку необходимо где-то спать и ежедневно жрать, здесь, в сталинградской коммуне „Смена“, был делом интересным, захватывающим.

Чудесные слова стали встречаться на его пути, слова, требующие незамедлительного перевода и подробного объяснения, как например „социалистическое соревнование“, „ударные бригады“ и много других. Пытливыми англо-саксонскими глазами мистер Уорд всматривался в новый, незнакомый ему дотоле мир, мир чудесный и бесконечно юный.

Но все же мистер Уорд отнюдь не считал себя зараженным большевистским ядом. И, как и прежде, на всех собраниях, созываемых в американской столовой, он приподнимал свое грузное, тяжелое тело и устало говорил: только не втягивайте нас в политику, господа. Мы вне политики. Нас приглашали работать, а не заниматься коммунистической пропагандой.

4. ПЕРЕЛОМ

Случилось все чрезвычайно просто. На улице стояли два представителя стопроцентной Америки: мистер Люис и мистер Броун. Из ресторана им навстречу шел „неполноправный“ гражданин—негр Робинсон. „Смотри, вот идет твой брат“,—сострил „культурный“ мистер Броун, на что вдребезги пьяный мистер Люис ответил рыканьем разбуженного зверя.

Остальное известно всему СССР. Высшая раса в лице мистера Люиса избила низшую расу в лице пария Робинсона.

Как уже было сказано выше, все это было бы чрезвычайно обыденно в капиталистической Америке, и ни один полисмен даже не оглянулся бы на такой тривиальный случай. Но в стране чудес, в стране большевиков это обыденное превращается в необычное. И не было границ возмущению истинных джентльменов, когда безумные большевики привлекли мистера Люиса и мистера Броуна к ответственности, и не было границ их удивлению, когда на страницах всех газет Советского Союза появились возмущенные шапки:

„Не позволим переносить на нашу почву нравы капиталистических стран!“

„Долой шовинистов и героев закона Линча!“

„Вон из страны Советов Люисов и Броунов!“

Стопроцентные янки собирались кучками, организовывали митинги, спрашивали друг друга: неужели правда, из-за какого-то грязного негра и такой переполох?!.

Но большевики — народ упрямый. И процесс состоялся, и рабочие со всего Союза прислали свои делегации, и прокурор вскрывал социальные корни избиения Робинсона, и общественные обвинители говорили о расовой вражде как результате капиталистической эксплуатации.

И Броун понял.

И тупой Люис ни черта не сумел понять.

И Броун был помилован.

И тупой Люис был выслан из пределов СССР.

И тупой Люис, прибыв в Америку, дал идиотское интервью сотрудникам бульварных газет.

Американская колония Первого тракторного завода имени Дзержинского бурлила, разделившись на два враждебных лагеря. В одном, наиболее мало-

[1] Здорово, ребята. Мне кажется, что вы на правильной дороге.

численном, были стопроцентные злопыхатели. В другом, составлявшем большинство, были честные работники.

У первых кричали: издевательство, оскорбление великой американской нации.

Большинство говорило: правильно, железной метлой выметать белых шовинистов из пределов пролетарского государства.

А еще имелись те, что и нашим и вашим; те, что колеблются.

Враждебный лагерь созвал собрание; председательствовал седой, выживший из ума американский патриот Моррис; рядом с ним разместились его стопроцентные друзья: Бурггойн, Робинзон (белый Робинзон, мечтавший в те дни чуть ли не о перемене фамилии) и в качестве заложника социализма, — член американского комитета, милейший Эд Гофман, враг фашистов, враг всего антисоветского. Среди публики — пьяницы, через несколько недель высланные во свояси.

В первом же ряду—Ролло Уорд.

В повестке дня—один лишь вопрос: как реагировать на высылку Люиса.

Моррис предлагает: объявить забастовку. Никому на работу не выйти. Бойкотировать русских.

Бурггойн соглашается. Робинзон—за. Гофман пока молчит. Опрашиваются сочувствующие из публики. Некоторые за забастовку. Большинство воздерживается. Два-три человека — против.

Заметив, что атмосфера неблагоприятная, председательствующий решает выпустить последний козырь.

— Мистер Уорд, — говорит он среди воцарившегося молчания, — я уверен, что вы как настоящий американец, уважающий свою родину, поддержите мое предложение.

Медленно и степенно Уорд встает с места. Его лицо, как всегда, улыбается. Глазки веселы и задорны. И только по тому, как он комкает в руках свою кепку, можно подметить, что он слегка взволнован.

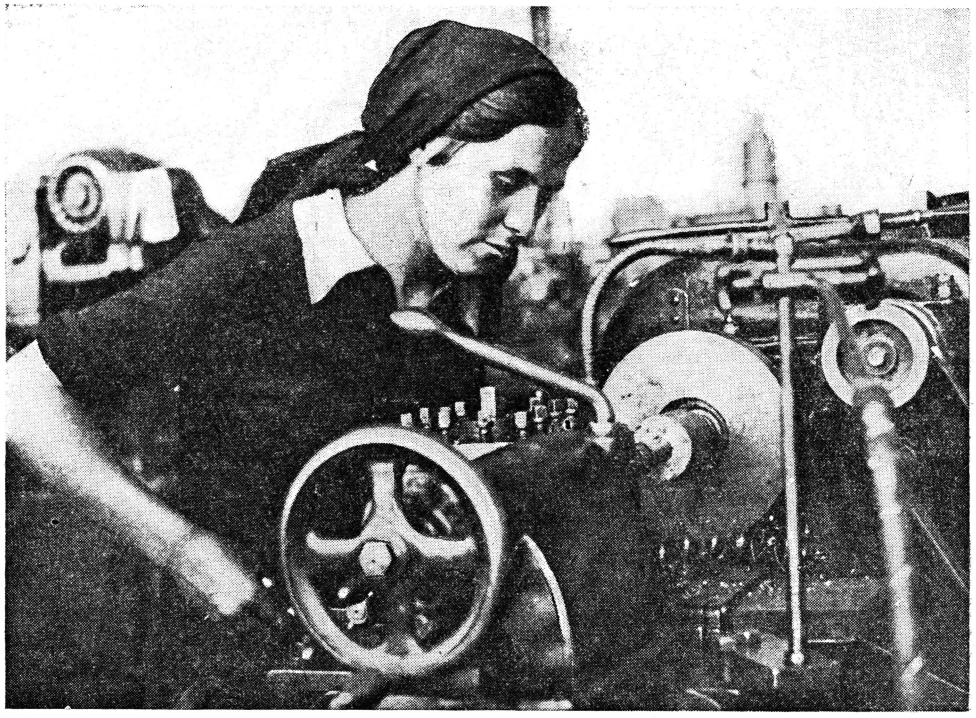
— Вы слегка ошиблись, мистер Моррис, я буду возражать. Правильнее было бы сказать, что я категорически против вашего предложения.

В зале нарастает шум. Присутствующие поражены и даже не скрывают этого. Неужели это возможно, неужели они не ослышались? Уорд, их Уорд, изменил. Он тоже перебежал на сторону проклятых агитаторов. Он тоже готов предать дело многозвездного знамени.

— Дело в том, — продолжает Уорд, несмотря на шум и отдельные выкрики,— что согласно моему глубочайшему убеждению, таким людям, как Люис, не место здесь. Я не особенно хорошо разбираюсь в том, действительно ли он избил Робинсона лишь потому, что тот негр, или он был просто пьян. Но зато я великолепно знаю, что первое не менее правдоподобно, чем второе. И я знаю, что если бы он избил негра в Штатах, то это было бы обычным приключением, собирающим пару мальчишек и десяток-другой зевак. Здесь положение иное. В моем отделении наравне с русскими работает несколько молодых „калмюк“, и я ежедневно вижу, с каким глубоким уважением к ним относятся их русские товарищи, несмотря на то, что эти „калмюк“—желтые, т. е. принадлежат к низшей расе. Здесь не линчуют человека, господа, только потому, что его кожа иного цвета. Наоборот, его здесь оберегают от преследований, защищают от оскорблений. И вот я, гражданин великой американской республики, скорбящий о том, что, несмотря на демократический образ правления, существующий в моей стране, там еще возможны такие пережитки средневековья, как суд Линча, я, гражданин Северных штатов (о чем я всегда говорю с гордостью), вынужден признать, что Советский Союз в своем отношении к людям иных рас мог бы служить нам примером. Поэтому, господин председатель, я против каких бы то ни было забастовок, из которых можно было бы усмотреть, что я солидаризируюсь с Люисом или Броуном. Я — против, господа.

И несмотря на то, что речь Ролло Уорда классово-сознательной ни в коем случае назвать было нельзя, он в этот вечер сделал больше, чем могли бы сделать сотни агитаторов.

Собрание загудело, как растревожен-



Токарь механическо-сборочного цеха тов. Буткова, премированная за ударную работу.

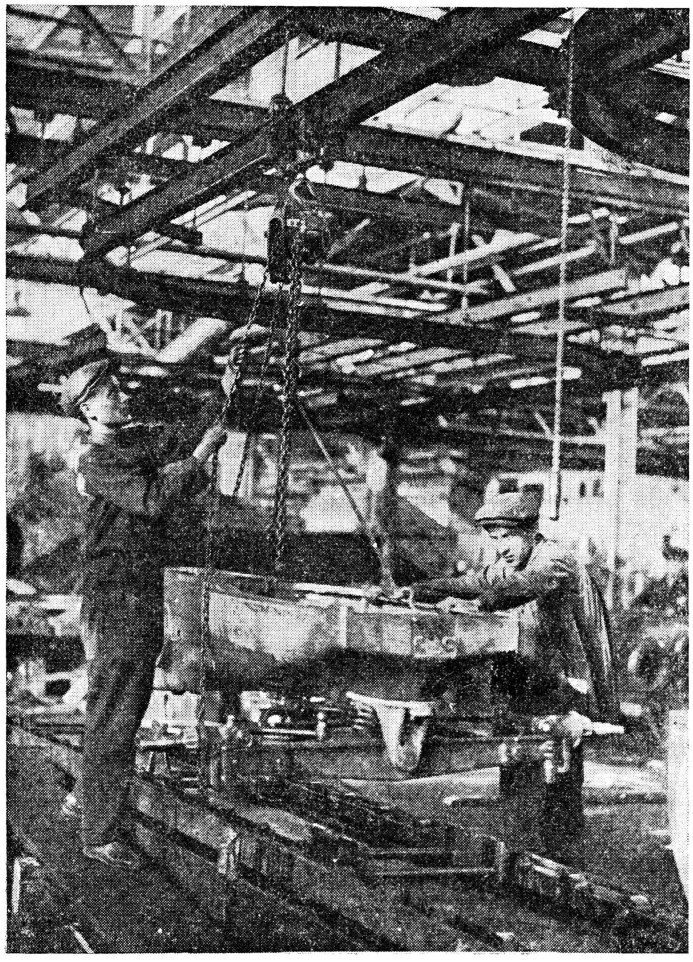
ный улей. Через десять минут, ругаясь и жестикулируя, „забастовщики" выходили на улицу. „Демонстрация протеста против инсценировки процесса над Люисом и Броуном" была блестящим образом провалена.

5. В ГОСТЯХ У КОММУНАРОВ.

Мистер Бурггойн, Робинзон и иже с ними объявили Уорду бойкот. Еле-еле раскланивались, на собрания не приглашали, в беседы не вступали. Зато коммунары пригласили Ролло к себе в гости, в бытовую коммуну в верхнем поселке.

Ровно в 7 часов вечера толстяк заковылял к указанному дому и поднялся по крутой лестнице на третий этаж. Стукнул в зеленую дверь. Два мальчугана, веселые и радостные, открыли и что-то заговорили на незнакомом ему языке. Подхватили его под руки. Вынырнувшая откуда-то девушка схватила пальто, один из ребят сдернул с головы шапку. Затем вели в красный уголок, показывали большой бюст Ленина, шахматы, шашки, портрет Сталина, желтые шкапы, полные книг. Все было очень странно и малопонятно. Выручила переводчица третьего отделения, только что пришедшая в коммуну. При ее помощи непонятное стало простым. Уголок оборудован ребятами и завкомом металлистов. Полы моют и обед готовят по очереди. Есть и казначей. Растрат пока не обнаружено,—смеялись ребята. Зарплата колеблется от ста до двухсот пятидесяти рублей, и вся идет в общий котел. Выдача денег регламентируется особой комиссией. За все существование коммуны выбыло лишь два человека. Один был исключен за пьянство. Оставшиеся живут дружно, никаких недоразумений не бывает.

Ролло улыбался, задавал вопросы, разводил руками. Потом началось нечто совсем малообычное. Сперва его усадили за шахматы, и он — чемпион Милуоки — проиграл две партии под ряд какому-то совсем еще юному парню. Затем играло пианино, двое ребят выделывали кренделя на полу, а остальные



Установка тракторной рамы на конвейер.

пели что-то дикое и весьма экзотическое, причем Уорду почему то вспомнились верблюды и пьяные, лежащие на сталинградских улицах.

„Забавно, — подумал он, — вот некоторые из нас считают, что Россия неповоротлива как верблюд, а все ее население так же дико, как пьяницы, валяющиеся на улицах в собственной блевотине. Почему Моррис и Бурггойн не замечают этих юношей и девушек, почему они не видят, насколько они разнятся от нашей молодежи? Почему они не хотят понять, что в этих юных коммунарах есть нечто такое, чего нет в нашей иссохшей стране? Почему?"

Мистер Уорд пока еще не находил ответа на эти вопросы.

А затем гурьбой пошли к Волге. Ролло шагал между двумя девушками и, ничего не понимая из того, что они ему говорили, только мычал в ответ, вызывая улыбки и радостный смех. Катались на лодке. Вылезли на другом берегу реки, разожгли костер и пели песни под аккомпанемент гитар и балалаек. Под конец сам Ролло запел неожиданным тенорком „Jou were meant for me" и „Wheu you re Smiliny" [1] под бурные аплодисменты слушателей.

* * *

Редактор английской газеты „Искра индустрии", подготовляя материал для первого номера, который должен был выйти в начале ноября, брызгал слюной и крыл всех и вся: не дают материалу, черти. Все эта пропаганда проклятая. И подумать только, что имеется десяток другой фашистских подлецов, терроризирующих всю колонию! Новый слух прохвосты распустили. Что всех, кто будет писать в нашей газете, американское правительство не пустит на родину.

Редактор волновался, редактор был вне себя. И было от чего: статей никто не нес, переводчицы, которым поручили сбор материала по цехам, приходили с пустыми руками, жалуясь на то, что американцы запуганы, писать отказываются, открещиваются от газеты руками и ногами. В общем настроение было ниже среднего.

В эту минуту в кабинет протиснулся толстый грузный человек.

---

[1] Американские песенки

— Хэлло, бой, [1]—сказал он, и лицо его расплылось в улыбку.—Я вам тут статейку припас. Надеюсь, пригодится. Пустяк, конечно, не на производственную тему даже, но, по-моему, интересно. О моих ребятах-коммунарах. Уж, если сумеете, поместите пожалуйста.

Он не знал, смешной человек, в каком трагическом положении был за пять минут до его прихода редактор. Он наверное никогда не узнает, с каким облегчением вздохнул его собеседник, передавая прочитанную наспех заметку в набор.

И через три дня на первой странице „Индустриэль спарк“ появилась набранная жирным корпусом заметка:

„Считаю необходимым поставить в известность всех американских специалистов о чудесном опыте, проделанном моими молодыми учениками из 30-го и 31-го пролета механическо-сборочного цеха. Руководимые группой энтузиастов — членов коммунистической лиги молодежи, они объединились в производственную и бытовую коммуну, коренным образом переделав свою жизнь в соответствии с лозунгами коммунистической партии.

Результаты этого поразительны. Я берусь вступить в соревнование с любым пролетом, любым отделением, и докажу, что мои ребята овладели техникой своих станков в меньший срок, чем рабочие других пролетов. Я могу доказать, что из людей, впервые увидевших машину пять месяцев тому назад, они сами сделали из себя квалифицированных рабочих, борющихся с трудностями и преодолевающих их.

Я не буду здесь говорить о быте моих юных друзей, о том, как они наладили свою жизнь на дому, поскольку мне просто-напросто не поверят мои соотечественники. Поэтому я могу только советовать всем и каждому: навестите коммуну „Смена“. Убедитесь собственными глазами в том, что здесь творится новая жизнь. Поговорите с комсомольцами. И вы поймете всю мощь русского строительства.

Я гулял с моими друзьями, я катался с ними на лодке, я слушал их полные задора песни, и я счастлив, что на старости лет мне довелось познакомиться с таким явлением, которое оправдывает существование человечества.“

Так мистер Ролло Уорд попал в агитаторы, так стал он „вредным элементом“ в глазах своих фашиствующих соотечественников.

6. НА ПУТЯХ К НОВОЙ ИДЕОЛОГИИ

Два корреспондента московских газет пришли интервьюировать мистера Уорда, лучшего производственника, награжденного ударника.

Молодая, стриженая переводчица привела их к „глиссону“ и указала на плотного американца, возившегося с какими-то рычажками:

— Вот это и есть мистер Уорд.

— „Но“, мистер,—запротестовал американец,—„но“ мистер, „товаришш, да“.

Нельзя было не улыбнуться при виде того, с какой горячностью открещивался Ролло от привычного еще недавно „титула“.

— Рад познакомиться, товарищ Уорд, сказал москвич, пожимая протянутую руку, не согласитесь ли вы рассказать нам о том, как вы добились таких блестящих результатов по техучебе?

— Дело не во мне,—развел руками Ролло, — дело вот в ком. И широким жестом он обвел столпившихся вокруг него комсомольцев. Они хотят учиться, они настаивают на том, чтобы я их обучал. И видя такой энтузиазм, такую невероятную жажду знания, вы хотите, чтобы я оставался спокойным и не отдавал все силы этому поразительному молодняку? Уж не считаете ли вы меня негодяем, товарищ?

— Но ведь в других пролетах и отделениях работа так не спорится, как у вас. Чем вы можете это объяснить?

— Я не думаю,—улыбнулся Уорд,— чтобы дело заключалось в том, что мне попался какой-то исключительный пролет. Мои ребята хороши, в особенности вот этот „бэби“, работающий наладчиком, в то время как десять месяцев тому назад он пахал землю (и он указал на покрасневшего от похвалы Ко-

[1] Здорово.

нова). Но и ребята в других пролетах не хуже. Таким образом объяснение напрашивается само собою. Если хороши ученики, то не плохи ли руководители? Я отнюдь не хочу сказать, что мои коллеги - иностранцы не имеют необходимых знаний. Но я убедился в том, что передать свои знания советскому рабочему можно, лишь проникнув в его жизнь, ознакомившись с тем, что происходит в Советском Союзе. Только работая за Советы, а не за доллар, можно добиться хороших результатов. А я работаю за Советы, товарищ...

* * *

„Дорогой товарищ Уорд! По случаю вашего отъезда в отпуск в Америку мы, ваши ученики по 30-му и 31-му пролету механическо-сборочного цеха приветствуем вас как нашего дорогого учителя и друга. Вы согласились и впредь работать в нашей среде с тем, чтобы помочь нам овладеть современной техникой, выполнить пятилетку в четыре года, догнать и перегнать наиболее передовые капиталистические страны. Мы это ценим, мы вас любим, мы будем помнить вас всегда...

Одна только у нас к вам просьба. По приезде в Америку расскажите своим друзьям и знакомым о том, как мы, напрягая все силы, строим здесь новую жизнь; своим свидетельством развейте кампанию лжи и клеветы, распространяемую международным капиталом о стране Советов. Этим вы завершите свою прекрасную работу у нас, на Сталинградском тракторном заводе, и навсегда завоюете наши сердца."

38 подписей.

„Дорогие товарищи! Прошу вашего бригадира прочесть этот ответ на ближайшем собрании:

„Я благодарю вас за замечательное письмо, которое вы мне написали. Оно больше чем вознаграждает меня за мое усердие в обучении вас обращению со сложными станками. Не меня надо за это благодарить. Вы с вашим героизмом и неослабевающим энтузиазмом победили на фронте овладения техникой. Для меня же было величайшей радостью жить в вашей стране и принимать посильное участие в гигантском деле построения вашей новой социалистической промышленности. Истекший год будет вечно жить в моей памяти. Мне до сих пор кажется невероятным, что еще год тому назад никто из вас в глаза не видал машин „глиссон", и что теперь вы работаете на них как ветераны.

Я горд тем, что был вашим инструктором, и счастлив, что через полтора месяца буду снова в вашей среде. Что же касается вашей последней просьбы, будьте спокойны, — я ее выполню. Я расскажу в загнивающем капиталистическом мире о том, что делается у вас, — в юной прекрасной стране. До свидания товарищи, до скорого свидания.

Ваш друг и учитель Ролло Уорд."

ДЕТСТВО ДЭНСАКУ

И. Наканиси

Рис. Г. Фитингофа

Шли весенние дожди...

Гладкие, ровные поля были залиты водой. Маленькое поле, величиной с одну десятую гектара, было уже на две трети засажено рисом. Шелковистые светло-зеленые молодые ростки были рассажены на правильных промежутках друг от друга. Этот рис для крестьян был все: ведь им только и кормились — как на Западе кормятся хлебом.

Семья Дэнсаку работала в поле. По полю от межи до межи была протянута веревка. Отец Дэнсаку Кихэй, его мать о-Ко и сестра о-Иоси сажали рис. Они шаг за шагом подвигались назад вдоль веревки.

У ног работающих в воде плавали пиявки. Они всползали по ногам и впивались в тело. То и дело по коже стекала кровь. О-Иоси привыкла к этому, но и то ей было больно. Поэтому рядом стоял большой горшок с водой, и как только о-Иоси замечала пиявку, она сейчас же снимала ее и кидала в воду. Вода в горшке была соленая. Пиявки выпускали высосанную кровь, и вода стала совершенно красной.

Кругом в полях тоже сажали рис. Отовсюду доносились полевые песни. Но в семье у Дэнсаку никто не пел. Иногда тихо переговаривались, а большей частью все молчали.

Дождь шел все сильней. Раскинувшаяся кругом равнина и тянущиеся вдалеке горы, отливавшие в ясные дни зеленым, синим, сиреневым, — все теперь слилось в серой мгле. Даже ивы, растущие прямо перед глазами, на берегу пруда, еле серели сквозь туман.

— Ну что ж, пора домой. Все равно сегодня не кончить... — обратился Кихэй к домашним. Те все еще работали.

О-Ко положила ростки, оставшиеся у ней в руке, в маленький водоем в углу поля. Рабочий день был окончен.

Так начиналась каждая весна. В этом году Дэнсаку исполнилось четырнадцать лет.

1

Наступила осень. Крестьяне дружно приступили к уборке риса. Высоко в ясном небе разносились крики перелетных птиц. Вдалеке с поля подымался дым, — это жгли зелень картофеля и другие травы. Воздух дышал осенью — запахом риса и испарениями влажной земли.

С раннего утра до полудня работали не покладая рук. В других семьях из дому приносили с собой печеный картофель и закусывали. Но в семье Дэнсаку этого не

Отец учил Дэнсаку сажать рис...

делали. Только после полудня пили чай с солью. Одна о-Ко иногда жаловалась на усталость и отдыхала.

Как только Дэнсаку приходил из школы, отец сейчас же гнал его на работу. Повязав голову полотенцем, Дэнсаку под ворчанье отца убегал в поле. Но в кармане или за пазухой у него всегда была с собой книжка. Улучив минуту, когда отец был поглощен работой и не замечал, что делается кругом, Дэнсаку потихоньку прятался за сушилкой и принимался читать.

Книжку ему дал молодой помощник учителя, Кэндзо. Она была трудновата. Но, как ни трудно было Дэнсаку читать, все-таки это было для него лучшее удовольствие. В этой книжке было помещено объявление о журнале „Мир юношества". Дэнсаку очень хотелось достать этот журнал, но он не мог его купить: у него не было денег.

В холодный день, когда в сушилке так и свистел северный ветер, Дэнсаку до слез не хотелось итти в поле. Он готов был бы

целый день читать у печки. Но и в такую погоду строгий взгляд отца гнал его на работу.

Из потрескавшихся рук сочилась кровь. При сборе риса приходилось работать с опущенными руками, оттого к ним приливала кровь и от холодного ветра руки нестерпимо болели. И то еще у Дэнсаку руки не были застужены так, как у других.

Уже смеркалось, но отец велел Дэнсаку принести еще связку риса. Дэнсаку очень проголодался, но из страха перед отцом он не показывал и вида. Когда не надо было приносить связки, он должен был складывать в мешки уже прочесанный рис. Стоило ему уронить хоть зернышко на цыновку, как молча работающий Кихэй все так же молча давал ему своей большой рукой пощечину. Испуганный Дэнсаку только хлопал глазами.

Кихэй вообще был очень спокойный, тихий человек. В деревне его все звали добряком. Но, когда дело касалось риса, он совсем выходил из себя. И постоянно грозил господином Хосокава. Ради этого „господина Хосокава" надо было сносить всякие лишения. Именем „господина Хосокава" Кихэй держал в страхе всю семью. Все домашние боялись не столько Кихэея, сколько имени „господина Хосокава".

Хосокава был помещик, у которого Кихэй арендовал землю.

Когда работу кончили, чесалки накрыли цыновкой, солому сложили в углу, а очищенный рис разделили между всеми и пошли домой. Впереди шла мать с пустыми коробками от завтрака и чайником. Дэнсаку с сестрой и Кихэй несли рис.

О-Иоси было только восемнадцать лет, но она была очень сильная. Дэнсаку всегда уставал первый.

— Давай отдохнем...

Дэнсаку шел с таким видом, точно он сейчас свалится с ног.

— Куда ж тут отдыхать, Дэнтян, [1] ведь мы и полкилометра не прошли! — засмеялась о-Иоси.

---

[1] Тян — ласкательное окончание в именах, вроде нашего „Колечка", „ко" — грубоватое окончание („Колька").

— Сегодня очень тяжело итти, еще не просохло после дождя...

— Что ты говоришь, Дэнтян! Уже десять дней не было дождя, — опять засмеялась о-Иоси.

Она была единственная сестра Дэнсаку. Старшая сестра о-Мицу рано умерла. Дэнсаку любил о-Иоси, как мать.

— Я все хочу тебя спросить, — заговорил Дэнсаку: — ты уезжаешь в Киото, [1] Иотян?

— Мне-то не хочется ехать, Дэнтян, да вот...

— Отчего же ты едешь, Иотян?

— Отец говорит, что надо.

— Как отец мог сказать, что надо ехать, когда у нас в доме столько работы?

— Он сказал, чтобы я поехала, когда мы уберем рис.

— Вот как?.. Иотян, когда ты уедешь, у нас станет очень тоскливо. Ты едешь в Киото служить?

— Да.

— Я тоже в будущем году буду служить у помещика. Тогда-то мы с тобой увидимся.

— Да, правда...

— А весной Кэндзо-хан [2] тоже поедет в Киото. Он поступит в учительскую семинарию... Вот если бы и мне туда поступить! Говорят, там бесплатно...

О-Иоси не отвечала.

2

Утром о-Иоси вставала раньше всех, еще до света, и готовила завтрак. Когда вода закипала, она будила мать. Сейчас же вставал и Кихэй. Дэнсаку всегда спал до тех пор, пока отец не стаскивал с него одеяла. Наскоро завтракали. Из доверху полной большой миски подбирали деревянными палочками соленую редьку. Редька была заготовлена еще три года назад. Потом о-Иоси приготовляла завтрак: набивала овальную деревянную коробку совершенно черной ячменной кашей, а в середину клала большую сливу и пять-шесть кусочков редьки. Потом коробка заворачивалась в лоскут от старой рубашки.

— Дэнтян, вот твой завтрак...

О-Иоси бережно завернула коробку в мешочек, аккуратно сшитый из кусков старого платья, и положила его у входной двери. В коробку Дэнсаку о-Иоси положила жареную рыбку. Она клала ему и побольше рису вместо ячменя.

— Дэнко! Когда вернешься из школы, сейчас же ступай в поле. Нечего прохлаждаться по дороге! — сердито сказал Кихэй.

Покончив с едой, отец и мать сейчас же уходили. О-Иоси прибирала и поэтому уходила последней. Так было и сегодня.

— Завтра мы начнем рушить рис, а когда кончим, ты поедешь в Киото, Иотян? — спросил Дэнсаку, когда они остались одни.

— Да... — грустно сказала о-Иоси.

— Все мы расходимся один за другим, кто куда. Ойоскэ ушел в солдааты, теперь ты узжаешь служить. Одного меня попрежнему будет бранить отец.

— Нет, Дэнсаку, ты самый счастливый. Остаться у отца с матерью — это самое лучшое. Кто знает, какую тяжелую работу мне придется делать в городе.

— Мне хочется учиться... а потом поступить в учительскую семинарию, как Кэндзохан, да вот отец не велит — ничего не поделаешь.

— Дэнтян, ты столько учишься, а чем ты станешь? Тебе ведь не хочется быть крестьянином, как отец?

3

Скоро в доме Дэнсаку стали рушить рис. Под навесом, между амбаром и жилым домом, разостлали цыновки, а посредине на цыновки поставили большую ручную мельницу.

Все домашние поднялись еще темной ночью и сразу же принялись за работу. Под навесом зажгли фонарь.

Прочесывать рис — это была трудная, но все же сносная работа. Зато во время рушенья приходилось так много работать, что Дэнсаку не мог и передохнуть и совершенно выбивался из сил. Это была для него самая ненавистная работа за весь год: самое тяжелое было рушить рис.

Когда принимались рушить рис, Дэнсаку приходилось прекращать занятия в школе. И потому он особенно ненавидел эту работу. Во время рушенья Дэнсаку будили еще до света. Он был усталый еще со вчерашнего дня, ему казалось, что он вот-вот растает от усталости. Ужасно трудно было побороть сонливость, — глаза так и слипались.

— Дэнко, это что! Хочешь спать? Ладно, иди-ка сюда!

Кихэй схватывал его за шиворот и тащил к колодцу.

— Не надо, не надо, я больше не хочу спать! — завопил Дэнсаку, когда отец облил его холодной водой.

— Ну, так живо за дело!

И Дэнсаку получил здоровенную пощечину.

Грохот мельницы напоминал отдаленный гром. Из соседних домов тоже слышались звуки: „горо, горогоро, горо...“ Петух захлопал крыльями и кукареканьем оповестил, что настало утро.

Из всех домов неслись песни. Хотя было так холодно, что на рассвете уже появлялся тонкий ледок, но за молотьбой все обливались потом. Двигать тяжелую мельницу было очень трудно. Лица у работающих были напряженные, сосредоточенные. Дэнсаку работал вместе с отцом: они вдвоем вертели

---

[1] Киото — крупный город, древняя столица Японии.

[2] В Японии после каждого имени ставится вежливое окончание „сан“. В деревнях — „хан“, „дон“ и др.

жернов, ухватившись за ручку. Дэнсаку был мал ростом, поэтому он принес с собой скамеечку и встал на нее. Но, когда он, вытянувшись, налегал на ручку, ноги у него напрягались, скамеечка опрокидывалась, и Дэнсаку падал и растягивался на цыновке. Тогда все смеялись. На смену Кихэю и Дэнсаку за мельницу брались о-Ко и о-Иоси.

— Иотян, слишком быстро! Шелухи много примешалось, — весело сказал Дэнсаку и ссыпал рис рядом на цыновку, чтобы уложить его в мешки. Кихэй принес меру и отмеривал по четыре меры в мешок. Потом он туго перевязывал мешок веревкой.

В три часа дня пришел Кэндзо. Кэндзо был помощник учителя деревенской начальной школы. Кончив занятия в школе, он пошел навестить Кихэя.

— Вы все работаете! — сказал он, подходя к мельнице.

— А, Кэнтян! Уже немного осталось.

Кихэй, не оборачиваясь, продолжал отмеривать рис. О-Ко и о-Иоси в это время работали за мельницей.

— Давайте я вам помогу.

Кэндзо снял верхнюю накидку — хаори, снял кимоно и остался только в штанах и рубашке.

— Пожалуйста, — сказал Кихэй.

— Дэнтян, давай вертеть мельницу! — окликнул Кэндзо Денсаку.

— Кэндзо-хан, не стоит, зачем вам трудиться...—сказала о-Ко. О-Иоси все еще держала ручку мельницы и молчала.

— Дэнтян, иди поскорей! — позвал Кэндзо. Он хотел дать отдохнуть о-Иоси.

Кэндзо и Дэнсаку взялись за мельницу. Оба они стали вертеть с таким видом, точно они занимались каким-то спортом. Шум мельницы, до сих пор звучавший „горо, горо, горо...“, теперь превратился в грохочущий гул: „гоо, гоо, гоо“. Дэнсаку ужасно нравилось вертеть мельницу с Кэндзо.

— Нехорошо слишком быстро вертеть... — тихо заметила молчаливая о-Ко. Она сказала это, чтобы они не получили выговора от Кихэя.

— Дэнко, если ты будешь так быстро вертеть, рис разотрется. Нельзя ли помедленней! — сердито сказал Кихэй. Ему было безразлично, что работе помогал сам учитель. О-Иоси стало неловко, она украдкой взглянула на отца.

— Молоды еще, вот и горячие оба... — заступилась мать. Но Кихэй еще больше рассердился.

— Мало ли что горячие! Нельзя портить рис.

Кэндзо приуныл. О-Иоси подошла к нему и тихонько сказала:

— Ничего, Кэнтян, пустяки, отец посердится и отойдет...

Кэндзо улыбнулся.

Немного спустя за мельницу взялись Кихэй и о-Ко.

— Дэнко, в веялке ничего нет, — сказал Кихэй.

Дэнсаку понес рис к веялке. И Кэндзо подошел с ним. За веялкой работала о-Иоси.

— Иотян, я поверчу, а вы отдохните, — сказал Кэндзо. Он взялся за ручку, которую держала о-Иоси, и тронул ее за руку. О-Иоси тоже крепко сжала ему руку. Дэнсаку нагнувшись подбирал все время сыпавшийся из веялки рис.

Работали до позднего вечера.

4.

Сегодня все хорошо работали, и вечером вам будет угощение. Кэнтян, и вы поужинаете с нами, — сказала подвечер о-Ко.

Кихэй во время работы всегда беспричинно сердился, зато о-Ко всех подбадривала. Дэнсаку ужасно обрадовался. Он стал работать еще усердней и все думал, чем их вечером угостят. Может быть по случаю сбора урожая будет курица. В доме у Дэнсаку держали штук тридцать кур. Но Дэнсаку попробовал куриное мясо только раз в жизни— два года назад, когда его старшего брата Ойоскэ призвали в солдаты. С тех пор как он помнил себя, он никогда еще не ел ничего такого вкусного.

Кур, которых разводили дома, конечно не резали. Они так хорошо неслись. Время от времени Кихэй насыпал в корзинку рисовую шелуху и сверху укладывал большие белые яйца. Потом корзинка ставилась в лодку вместе с баклажанами, тыквами и дынями, и Кихэй отвозил все это на рынок в Удзи или Фусими. На вырученные деньги он покупал сухую твердую рыбку, которая шла на удобрение, сухое удобрение, издававшее неприятный запах, известь, новые мотыги, иногда спички и свечи. Дэнсаку давно уже просил купить ему записную книжку, но Кихэй и слышать не хотел.

— Записная книжка бывает у полицейских. У полицейских или у учителей... у ученых. Такие вещи не про нас, — строго говорил отец.

Иногда разводили цыплят. Наседке подкладывали десять или больше яиц, и через тридцать-сорок дней с писком „пий, пий...“ вылуплялись маленькие славные пушистые желтые цыплята. Когда цыплята подрастали, ровно столько же кур возили продавать на рынок.

Иногда Кихэй клал яйцо в крепкую водку. Такая „яичная водка“ была для него лекарством, — он пил ее во время приступа колик в желудке или при простуде.

Дэнсаку узнал вкус яйца, когда ему было шесть лет. Он был сильно болен корью. Мать сварила яйцо вкрутую, бережно нарезала его, смешала с кашей и дала Дэнсаку. Потом он однажды забрался в амбар и потихоньку выпил сырое яйцо. Но оно было совсем невкусное, и его чуть не стошнило. Вдобавок Кихэй это узнал и поколотил его. После этого Дэнсаку уже не прикасался к яйцам.

Но курицу он любил. Он до сих пор не мог забыть, как он ее попробовал, хотя это было уже два года назад. Курицу зарезали по случаю ухода старшего брата в солдаты. Брат сидел нарядно одетый, перед ним стояло блюдо, наполненное овощами, а сверху лежало несколько ломтиков белого куриного мяса.

С тех пор, когда Дэнсаку видел бегающих по двору кур, у него так и текли слюнки.

Дома у него и утром и на обед ели ячменную кашу и почерневшую соленую редьку. Только вечером бывали какие-нибудь овощи с солеными и жареными трепангами. Жареные трепанги были похожи на проржавевшие старые гвозди. Когда дела шли плохо, не было и трепангов. Летом еще было сносно, — по крайней мере были овощи, — но с осени и всю зиму приходилось есть только старую соленую редьку и соленые сливы. Иногда из оставшегося с лета мисо[1] вылавливали совершенно почерневшие баклажаны и огурцы, варили их и ели. Но даже это казалось Дэнсаку вкусным, — так надоедала ему вечная каша с редькой.

Дэнсаку и Кэндзо вертели мельничное колесо...

— Сегодня вечером вам будет угощение.

Этого мать еще никогда не говорила. Поэтому у Дэнсаку и появилась надежда — а вдруг зарежут курицу? Тем более, что о-Иоси собиралась уезжать в Киото на службу. Может быть будет такое же угощение, как когда Ойоскэ ушел в солдаты?

Наконец настал долгожданный ужин. Кэндзо, немного стесняясь, сел ужинать вместе со всеми.

У Дэнсаку в животе так и урчало. Он вытянул шею и с нетерпением ждал, что за лакомство окажется в горшке. Он даже затаил дыхание, пока о-Иоси накладывала ему в чашку темную ячменную кашу. Когда о-Иоси положила всем кашу, о-Ко сняла крышку с горшка. Оттуда поднялся густой белый пар, и в нос ударил запах свежего мисо. Когда пар рассеялся, Дэнсаку так и впился глазами в горшок: там в мисо плавало штук десять мелко нарезанных пшеничных лепешек.

— Ах, какое угощение! — воскликнул Дэнсаку.

5

Наконец в доме у Кихэя управились с рисом, и в амбаре выстроились тугие мешки. Когда урожай был собран и со всеми заботами покончено, отец Дэнсаку облегченно вздохнул. В амбар принесли священные сосуды из некрашеного дерева и освященную рисовую водку — сакэ. Все это поставили перед мешками с рисом. В глиняной чашке зажгли огонь. Кихэй посадил рядом с о-Ко о-Иоси и Дэнсаку. Он сам вышел вперед, хлопнул в ладоши, как полагается перед молитвой, и стал читать молитвы.

Поздно вечером Кихэй стал трепать свежую солому. Дэнсаку тоже трепал солому маленькой трепалкой.

— Дэнко, смотри, поплюй на руки, а не то сейчас мозоль вскочит, — сказал Кихэй, с шумом ударяя трепалкой.

Солому трепали, потом вили веревки, и их тоже возили продавать в город.

С каждым днем все больше холодало. О-Ко достала старые платья и села чинить их под тусклым фонарем. О-Иоси тоже чинила платья и рубашки. Она готовилась к отъезду в Киото. Кэндзо, который в этот

[1] Мисо — густая жидкость из соевых бобов. Это очень распространенный в Японии продукт. В мисо консервируют овощи. На нем жарят. Из него делают суп и разные приправы.

вечер пришел в гости, сидел рядом с о-Ко и о-Иоси и читал им вслух. В доме было тихо, как бывает поздней осенью. Иногда о-Иоси на минутку задерживала руку с иголкой, смотрела на Кэндзю и тихо вздыхала.

Спустя два-три дня после того, как Кихэй прочел молитвы перед сложенными в амбаре мешками с рисом, к нему пришел какой-то человек, одетый в хорошее шелковое пальто-накидку — хаори. На вид ему было лет тридцать. Лицо у него было белое, почти как у европейца, фигура стройная, в руках он нес портфель. Увидав его, мать Дэнсаку растерянно стала снимать тесьму, которой были перевязаны рукава, и полотенце с головы. Потом она торопливо вышла навстречу гостю.

— Здравствуйте. Извините, что доставили вам такое беспокойство... Вам пришлось итти в такое грязное место! Пожалуйста, войдите вот сюда, — вежливо и смущенно говорила о-Ко, все время извиняясь. У гостя же был высокомерный вид.

— У вас все здоровы? — сухо спросил он и пристально обвел взглядом комнату. — Убрали рис? Кихэй-хан дома?

— Спасибо. Сбор риса благополучно закончен. Кихэй возится во дворе. Я сейчас его позову. Пожалуйста, садитесь...

О-Ко поспешно достала из соседней комнаты плоскую подушку для сиденья и предложила ее гостю. Тут она заметила Дэнсаку. Он сидел у печки и перелистывал книгу.

— Дэнсаку, беги скорей во двор, позови отца! Скажи, что пришел Хосокава-хан.

Услышав имя „Хосокава-хан", Дэнсаку весь сжался. Это было то самое ужасное имя, которым его всегда пугал отец. Дэнсаку бросился во двор, как будто за ним гнались. Кихэй был в амбаре. Он перебирал веревки и соломенные сандали, сплетенные накануне вечером.

— Отец! Хосокава-хан пришел!

Дэнсаку было как-то страшно даже произносить это имя.

— Что? Кто пришел?

— Хосокава-хан.

— Хосокава-хан... Хорошо.

Кихэй потемнел. Потом он глубоко вздохнул, выпрямился и мрачный вышел из амбара. Дэнсаку был очень напуган и выражением лица отца и именем Хосокава-хан. Ему не хотелось больше итти домой: ему казалось, как будто над домом нависла черная туча. Он не вошел туда, а остался во дворе.

Вдруг за спиной Дэнсаку послышались шаги. Он испуганно оглянулся. Эта была сестра.

— Иотян, Хосокава-хан пришел, — тихо прошептал он.

— Хосокава-хан? Как, вот этот гость — это Хосокава-хан?

О-Иоси тоже говорила шопотом.

— Да, это Хосокава-хан. Он еще молодой.

Дэнсаку думал, что Хосокава должен быть большой черный человек, похожий на черта.

— Молодой?

— Да, молодой... белый, тонкий...

— Ну, так это только приказчик Хосокава-хан.

— Приказчик? — Дэнсаку почему-то еще больше испугался.

— Мы очень много должны Хосокава-хан... — задумчиво сказала о-Иоси.

— Сколько?

— Много. Я не знаю сколько, но много.

— Как же это мы сделали столько долгов?

— Не знаю... Вот когда покупали быка, мы заняли денег у Хосокава-хан.

— Сколько мы заняли?

— Много! Сколько нужно, чтобы купить быка.

— На одного быка нужно ведь сто йен...

6

На другой день после прихода приказчика стали перетаскивать рис из амбара на берег реки Удзигава.

Уже было вынесено тридцать с лишним мешков. Когда в амбаре осталось всего десять мешков, Дэнсаку стал беспокоиться.

— Отец, таскать еще? — тревожно спросил он.

— Мм...

Кихэй только кивнул.

Дэнсаку уже слышал от сестры, что, если отвезти даже весь рис, и то будет мало. И все-таки он думал, что сколько бы они ни были должны, им оставят в амбаре хотя бы столько рису, чтобы хватило их семье на еду. Но, когда он увидел, что осталось десять мешков, потом восемь, а все еще надо было выносить, он не мог больше вытерпеть.

— Отец, неужели все надо будет отвезти Хосокава-хан?

— Мм... — угрюмо, не разжимая губ, ответил Кихэй.

— А на еду нам что-нибудь останется?

— Мм... — опять промычал Кихэй.

Вместо восьми мешков осталось шесть, потом пять. Дэнсаку обливался потом. Держа передний конец палки, к которой были привешены мешки, он то подымался, то спускался по дамбе. Но, когда в амбаре осталось только пять мешков, он совсем выбился из сил. Когда он со своей ношей подымался в гору, ему казалось, что он вот-вот свалится. Ему сделалось так грустно, так грустно, что не было сил. Он со злобой вспомнил весь долгий и тяжелый труд за весну и лето. Ему все это казалось совсем несправедливым.

— Устал, Дэнко? — как-то необычно ласково спросил отец.

Дэнсаку промолчал.

Мешки были привешены к шесту так, что Кихэю доставалось восемь десятых всей тяжести, а Дэнсаку только две. Но Кихэй боялся, не слишком ли тяжело и это для четырнадцатилетнего мальчика.

Дэнсаку еле пересиливал боль в плече; он шел пошатываясь, как будто вцепившись в шест.

— Еще один разок... Потерпи! — опять сказал Кихэй.

Дэнсаку ожил. Ему казалось, что и ноги двигаются легче и плечи болят меньше.

В опустевшем амбаре, в углу, лежало всего три мешка. Дэнсаку посмотрел на эти сиротливо сложенные мешки и глубоко вздохнул. Сможет ли семья из четырех человек прожить на это целый год?

Мать, глядя на мешки, тоже вздохнула.

— Хосокава-хан не оставляет нам даже на еду... что ж, нам с голоду умирать?.. — пробормотала о-Ко. — В этом году опять придется докупить мерку риса, — задумчиво продолжала она.

Только теперь Дэнсаку понял, как живется их семье.

— Разведем побольше кур. Ведь к сбору чая о-Иоси уже здесь не будет, — озабоченно сказала о-Ко.

В прежние годы каждую весну, когда рис был посажен, о-Ко и о-Иоси нанимались собирать чай на соседней плантации. Это давало кой-какой заработок.

Наскоро проглотив вареный рис, залитый чаем, Дэнсаку с отцом сели в лодку, уже нагруженную мешками, и поплыли вниз по реке. На расстоянии четырех километров был город Фусими. Река Иодогова, вытекающая из озера Бива,[1] стремительно мчалась через узкое ущелье и только при входе в город Удзи плавно текла темносиним потоком. Отсюда она текла до Фусими, но уже под другим названием — Удзигава.

За год Дэнсаку два-три раза бывал в Фусими с отцом. Когда он бывал там, ему не хотелось больше возвращаться к себе в деревню.

В воде отражался длинный, красивый железный мост. За ним вереницей тянулись крутые черепичные крыши, такие веселые, как будто они танцовали танец. По мосту пробегали рикши, проезжали велосипеды; чуть не сталкиваясь, проходили люди. Над водой разносился слабый шум. Где-то просвистал непривычный для уха пароходный гудок. Из фабричных труб подымался черный дым. На реке попадалось все больше лодок. Кихэй умело управлял длинным двойным веслом, опуская в воду то правый, то левый конец. Он осторожно прошел по течению под мостом и въехал в самый город.

Лодка Дэнсаку причалила к берегу у большого склада. У пристани было привязано много лодок, тоже нагруженных рисом. Все они были гораздо больше, чем лодка Дэнсаку. С лодок усердно перетаскивали на берег мешки. Кихэй, как будто стесняясь, привязал лодку у самого края пристани.

Кихэй оставил Дэнсаку в лодке, а сам пошел в склад. Дэнсаку остался ждать, сжавшись в комочек в тени мешков. С соседних лодок носили рис в склады на берегу. Здесь было много мужчин, похожих на отца Дэнсаку. У склада распоряжался человек в белой куртке. На воротнике у него было написано: „Зерновой отдел Хосокава". У него были приглаженные волосы разделенные на пробор, очки в золотой оправе, на пальцах толстые золотые кольца, а на боку болталась записная книжка.

Кихэй направлял лодку под мост...

Дэнсаку в этом году первый раз видел, как сдают рис. Он смотрел на все это с любопытством. В это время подошел Кихэй. Он несколько раз поклонился человеку в белой куртке. Тот сейчас же подошел к лодке Кихэя, вынул из-за пояса записную книжку, записал туда что-то и посмотрел, сколько мешков сложено в лодке.

— Хорошо, отправляйся сейчас же в склад № 3. Но уже поздно, Кихэй-дон. Поторопись, а то склад в пять запирается, — сказал он.

[1] Озеро Бива, близ Киото, славится красотой видов.

Склад № 3 был на расстоянии четверти километра от того места, где причалила лодка. Когда Дэнсаку вошел в склад, он остолбенел. Никогда в жизни он не видел столько мешков с рисом! Ему даже не верилось, что в этих мешках действительно рис.

— Целые горы! — воскликнул он, выходя из склада. Он даже забыл про боль в плечах.

— Да, целые горы. Что, ты удивлен, Дэнко?

Кихэй говорил с какой-то странной гордостью.

— А что делают с такой кучей риса, отец?

— С этим? Вот когда установится цена на рис, его продадут. Здорово, а?

— Да... Такая куча! И много наживут?

— Да, уж наживут!

Разговаривая, отец с сыном вышли из склада. В эту минуту к Кихэю подошел другой человек в куртке. На воротнике у него тоже было написано: „Зерновой отдел Хосокава".

— Склад запирается, — сказал он.

7

Ну, Дэнко, сегодня вечером нас с тобой угостят! — сказал Кихэй, когда весь рис был перетащен с лодки в склад и лодка поставлена в прежнее положение.

— А где мы будем ужинать, отец?

Дэнсаку был ужасно голоден.

— Нас позвали к Хосокава-хан, — ответил Кихэй. Он сам был рад.

— Хосокава-хан позвал нас ужинать? — удивился Дэнсаку.

— Да, позвал.

— И нас там угостят?

— Угостят, да как — язык проглотишь!

— О!

У Дэнсаку слюнки потекли.

— Отец, курица будет?

— Ну, этого я не знаю. Но что-нибудь вкусное — непременно.

Кихэй принес из лодки пучок репы. Эти овощи были его гордостью. Он хотел преподнести их Хосокава.

Дом Хосокава был на расстоянии километра от берега.

— Вот и дом Хосокава. Что, большой дом, а, Дэнко? — спросил Кихэй, обернувшись к Дэнсаку.

Можно было подумать, что один дом Хосокава занимает почти всю узкую улочку. Уже смеркалось. У ворот зажгли фонари. Кихэй не вошел в главные ворота. Он прошел вдоль высокой стены к черному входу. Там была маленькая дверка; это видимо был черный вход. Туда они и вошли. Внутри горела светлая лампа. Это было большое помещение. В нем сидело много людей, перед каждым стоял крошечный низенький столик, и все ели. В нос ударил запах жареной рыбы. За едой прислуживали служанки. Увидев все это, Дэнсаку обрадовался, но в то же время он почувствовал себя как-то неловко и подавленно. Он смущенно спрятался за спину отцу.

Кихэй поздоровался с женщиной лет сорока; она повидимому была старшая служанка. Она говорила с Кихэем очень любезно.

— О, какая крупная репа! Спасибо, спасибо! Я ее сейчас же посолю и подам господам.

— Что вы, в этом году у меня ничего хорошего не уродилось. Ее хорошо солить, да и вареная она вкусная, — гордо сказал Кихэй.

— Ну, я ее и посолю, и отварю... Пожалуйста садитесь вот сюда. Покушайте, хоть у нас ничего особенного нет...

— Спасибо, не беспокойтесь.

Кихэй, съежившись, сел в углу кухни. Старшая служанка больше не обращала на Кихэя внимания. Даже столь расхваленная репа была куда-то брошена и попала совсем в другой конец кухни. Кихэй и Дэнсаку сидели на полу неподвижно, не снимая своих соломенных сандалий. Немного погодя перед ними поставили по маленькому столику. На каждом столике была тарелочка с жареной рыбой и чашка супа. На столике Кихэя в углу стояла бутылочка с рисовой водкой — сакэ.

Кихэй глубоко вздохнул, точно переводя дух.

— Ну, вот и сдали рис! Пришлось тебе поработать, Дэнко, — ласково сказал Кихэй. Дэнсаку стало грустно и приятно.

— Выпьешь чашечку?

Кихэй поднес ему маленькую белую чашечку и сакэ.

— Нет, не хочу. Пей сам, отец.

— Выпей чашечку, полакомись... Тебе не холодно?

— Нет, не холодно.

— В прошлом году я был здесь с твоим старшим братом. Ему двадцать лет, а тебе только четырнадцать. Трудно тебе пришлось! Ну, да ничего, скоро брат вернется, я тебя тогда пущу учиться, куда захочешь... Ну что, выпьешь?

— Нет, не хочу.

Отец говорил все ласковей и ласковей, а у Дэнсаку слезы навертывались на глаза. Он не понимал, отчего отец так с ним говорит.

Отец одним духом выпил чашечку и глубоко вздохнул. Потом прищелкнул языком. В это время служанка принесла еще чашку; в ней была белая-белая рисовая каша. Дэнсаку, которому постоянно приходилось видеть только почерневшую ячменную кашу, этот рис казался похожим на снег.

— Смотри, отец, белая каша!

— Да, белая каша. Вкусно?

— Угу.

— Ешь побольше. Ешь сколько влезет!

Дэнсаку был ужасно доволен. Он взялся за жареную рыбу.

— Отец... это лососина?

— Да, лососина. Что, вкусно?

— Угу.

— Здесь подают все свежее, оттого и вкусно. Дай-ка и я попробую.

Кихэй отломил крошечный кусочек белой от соли лососины и положил себе в рот.

8

На другое утро Кихэй взвалил на спину большой узел с вещами о-Иоси. О-Иоси была одета по-деревенски, подол был подоткнут. Только сверх платья на ней было пальто-накидка, заботливо сшитое матерью. На ногах у нее были сандалии с пеньковыми подошвами; завязки были из красной тесьмы.

Кэндзо тоже пришел ее проводить.

Когда они вышли на берег, было еще темно Дэнсаку шел впереди и светил фонарем. У матери глаза распухли от слез; она же провожала о-Иоси до берега. Отсюда до Фусими надо было ехать лодкой, а от Фусими до Киото пройти несколько километров пешком.

На лодке осел белый иней. При свете фонаря он ярко сверкал и переливался. При дыхании изо рта вырывался белый пар.

— Смотри, о-Иоси, не поскользнись, — сказал Кихэй, когда о-Иоси входила в лодку.

О-Иоси бодрилась. Кэндзо все время молчал и только иногда переглядывался с о-Иоси.

— Ну что ж, поедем . . .

Голос Кихэя звучал глухо. Он дергал носом.

— О-Иоси, будь здорова, береги себя! — сказала мать и заплакала. Услыхав ее рыдания, о-Иоси тоже молча заплакала.

— Дэнко, оттолкни нос! — закричал Кихэй сердито, чтобы заглушить грусть.

Когда о-Иоси уехала в Киото, в доме у Дэнсаку стало очень тоскливо. Приближалась зима.

Однажды Кихэй оделся по-праздничному, взял с собой связку соленой рыбы и отправился в Фусими к Хосокава.

— Ну вот, нам есть чем похвалиться на новый год перед Хосокава-хан, — сказал, вернувшись, Кихэй.

— Отец, мы отдали все, что были должны Хосокава-хан? — спросил Дэнсаку.

— Да, на этот раз я совсем рассчитался. Видишь ли, платить двадцать процентов в год очень уж трудно, — сказал Кихэй. — Вот я с помощью Иотян и покончил разом с долгами.

До сих пор отец никогда не говорит с Дэнсаку о положении их семьи. Но теперь, когда о-Иоси уехала, ему не с кем было говорить, кроме о-Ко, и оттого было как-то не по себе.

— Ну, а как же дальше, отец?

— А что ж дальше?

— А мы... попрежнему будем крестьянствовать?

— Да. В нашей семье так уж повелось.

— А я, отец, хочу поступить на завод.

— Поступить на завод? Вот как?

— Да . . .

Дэнсаку говорил о пороховом заводе. Там недавно закончились строительные работы и теперь набирались рабочие.

— Мне уже пятнадцать лет. Я смогу получать 12 сен[1] в день, значит в месяц буду зарабатывать 3 йены 50 сен.

— В месяц заработаешь целых 3 йены 50 сен?

— Да... заработаю. И буду каждый месяц посылать деньги домой. Позволь мне пойти на завод.

— Что ж, если ты будешь в месяц зарабатывать 3 йены 50 сен, это хорошо. Тогда я нанял бы батрака за 5 йен в год.

— Да, отец, так будет лучше. Я ведь еще мал, мне трудно тебе помогать. Лучше найми батрака, а я буду присылать домой все, что заработаю.

— Ха ха-ха, Дэнсаку, не расписывай! Видно просто не хочешь мужиком быть?

— Нет... не только... Видишь, я вот хочу купить себе книжку, а городские мальчишки надо мной смеются, называют мужиком.

— Городские мальчишки над тобой смеются? Ну, тут уж ничем не поможешь. Крестьяне были, крестьяне и есть... и не умеем так зашибать деньгу, как городские... да и на что мужику деньги?

Дэнсаку промолчал.

— Знаешь поговорку, Дэнко: „От мужика родится мужик, от лягушки родится лягушка“? Посмотри на теперешних сановников, на важных господ, кто они? Все сыновья господ, дворян.

9

И этот год пришел к концу.

Как-то ночью Дэнсаку проснулся и вышел во двор. Он хотел было уже вернуться, как вдруг увидел, что возле амбара соседнего дома крадется какой-то человек с мешком на спине.

Рядом с домом Кихэя был дом местного богача Садзаэмона. Маленький, как гриб, крытый соломой домик Кихэя приткнулся у самой ограды высокого дома Садзаэмона.

Дэнсаку с любопытством всматривался, осторожно прикрыл снаружи выходную дверь и, как был, полуодетый подкрался как можно ближе, почти к самой ограде. При слабом отсвете снега он узнал Тора-Штыка.

Тора-Штык на самом деле назывался Тада Торакити. Его прозвали Тора-Штык за то, что однажды, отбывая срок военной службы, он проколол штыком бок командиру роты.

Торакити работал батраком, а отец его был деревенский массажист. Когда Торакит призвали на военную службу, отец его был уже такой старик, что не мог заниматься своим ремеслом. Пока сын работал батраком, он содержал отца, но, когда Торакити ушел

[1] Сена — около копейки; сто сен — одна йена.

в солдаты, старик остался совсем без средств. Поэтому Торакити попросил своего бывшего хозяина позаботиться об его отце.

Но, когда он получил однодневный отпуск и пришел в деревню, он увидел, что его отец нищенствует.

Хозяин, которого Тора-Штык при уходе в солдаты просил позаботиться об отце, был Садзаэмон.

Вот этот самый Тора-Штык теперь крался темной ночью из амбара Садзаэмона с мешком. Когда Дэнсаку его узнал, он сразу догадался... к тому же он озяб, да боялся, что и Тора-Штык его увидит. Он стремглав побежал обратно в дом и юркнул под одеяло.

Было еще раннее утро, когда раздался стук в дверь.

— Кихэй-дон, открой-ка! — послышалось за дверью. Стучали так сильно, что и Кихэй проснулся.

— Кто там?

О-Ко тоже проснулась.

— Дэнко, кто-то пришел, пойди, открой. Дэнко! — окликнул отец. Но Дэнсаку затаил дыхание и не отзывался.

— Кихэй, открой-ка. Извини, что в такой холод...

Кихэй встал и, поеживаясь, пошел к двери.

— Кто там так рано?

— Я.

— Входите, здесь холодно.

— Кихэй-дон, а Дэнсаку дома? — вдруг как-то странно спросил Сандзаэмон.

— Дэнсаку? Да, дома.

— Ну так позови его сюда.

— Дэнсаку?

— Да.

Дэнсаку лежал рядом за тонкой перегородкой. Когда он услышал эти слова, он испугался.

— Он вам зачем-нибудь нужен?

— Позови его, увидишь. Он спит?

— Да.

— Дэнко, Дэнко! — позвал Кихей сына. Дэнсаку молча свернулся клубком и зарылся в одеяло.

— Ишь, крепко спит!

Кихэй ворча пошел растолкать Дэнсаку. Тот еще больше съежился.

— Не спит, притворяется, негодяй! — сердито бранился Садзаэмон.

Весь согнувшись, Дэнсаку стал перед Садзаэмоном.

— В чем дело, Садзаэмон-сан? — сказал Кихей, смотря то на сына, то на Садзаэмона.

— Дэнко, ты наведывался сегодня в мой амбар? — злым голосом сказал Садзаэмон.

— Мм...

Дэнсаку потер глаза и покачал головой.

— Что? Не ходил? Врешь! — сказал Садзаэмон. — Как не ходил, когда ты только, что прибежал домой!

Кихэй был удивлен.

— Я, право, ничего не знаю, но Дэнко с вечера никуда не уходил. Нет ли тут ошибки?

— Этой ночью у меня взломали амбар и стащили несколько мешков с рисом. Следы ведут как раз к твоему дому. Дело ясное! Ну, Дэнко, идем в полицию.

— Я не отдам вам сына! — сказал перепуганный Кихэй.

— Вот как? Хочешь, чтобы полицейский пришел за ним и повел его связанного? Мы с тобой соседи, так я еще разговариваю с тобой по-хорошему...

— Если бы Дэнсаку действительно вас обокрал, я бы отдал его. Но он не мог этого сделать. Здесь какая-то ошибка.

— Ну, так я позову Симада. Смотри, пожалеешь!

И взбешенный Садзаэмон выбежал из дома.

Симада — это было имя деревенского полицейского.

10

Через час пришел полицейский Симада и увел Дэнсаку. Кихэй и о-Ко побледнели.

Дэнсаку в сопровождении полицейского шел по усыпанной снегом дороге и все время плакал. Когда он слышал за спиной стук шашки и скрип сапог, ему казалось, что от страха у него отнимутся ноги. Полицейский молчал как камень.

Когда его привели в полицейский участок, там было много народу. Вдруг Дэнсаку окликнули.

— Дэнсаку, как ты сюда попал?

Это был Тора-Штык. Дэнсаку перестал плакать и потер себе глаза.

— Симада-хан, что сделал Дэнко? — спросил Тора-Штык. Симада не ответил и сразу же увел Дэнсаку в заднюю комнату. Там он сел на стул, который захватил с собой в контору, и строгим тоном спросил:

— Ну, Дэнсаку, если ты честно во всем признаешься, тебя сейчас же отпустят. Ты украл у Садзаэмона рис?

Дэнсаку, дрожа от холода и страха, потряс головой.

— Ну, если не ты, то ты должен был видеть, кто это сделал. Назови его — я тебя сейчас же отпущу.

Дэнсаку все же не ответил. Тогда Симада ударил его по лицу. От испуга Дэнсаку чуть не вскочил. Он готов был зарыдать, но из горла у него не выходило ни звука.

— Что ж, в таком случае я тебя отправлю в тюрьму.

Полицейский достал из кармана веревку.

— Простите, простите!

Дэнсаку жалобно заплакал.

Вдруг в комнату вбежал Тора-Штык.

— Что за безобразие—мучить ребенка!— гневно крикнул он.

— Как это безобразие! — крикнул полицейский.

— Конечно... Мучить ребенка, который ничего не знает.

— Значит ты знаешь?

— Знаю.

— А, так ты признаешься? Хорошо! Так это ты сделал?

— Да, я! Сапер второго разряда Тада Торакити.

— Военный чин тут ни при чем...

Вскоре Тора-Штык был отведен в полицейское управление. Но и Денсаку повели вместе с ним.

А дома у него в это время тоже произошло неприятное событие.

Вскоре после того, как полицейский увел Денсаку, к ним пришел слуга Садзаэмон Сйота.

— Кихэй-дон, хозяин сказал, чтобы вы зашли к нему. Пойдемте.

Кихэй недовольно поморщился, но у него нехватило духу возразить.

— Хорошо, я сейчас приду. Пойди вперед.

— Нет, хозяин сказал, чтобы мы пошли вместе.

Кихэй с досадой щелкнул языком, яростно стукнул трубкой и встал. Нахмурившись, он последовал за Сйота.

Садзаэмон сидел в кухне. Кихэй остановился у входа, поклонился и смущенно присел на приступочку. Садзаэмон помолчал, потом вдруг сказал:

— Кихэй-дон, мне очень жаль, но тебе придется очистить землю под домом.

— Как?

От неожиданности Кихэй уставился на Садзаэмона.

— Немедленно же освободить дом!—повторил Садзаэмон.

— Дом—это... какой?

— Дом—это твой дом. Землю, где ты живешь.

— Как! Землю, где мой дом?

Кихэй изумленно смотрел на Садзаэмона.

— Да.

Дом, в котором жил Кихэй, и весь участок земли принадлежал ему. Но два года назад он задолжал Садзаэмону 30 йен, и весь участок размером меньше двух гектаров перешел как залог к Садзаэмону.

— Как же так, Садзаэмон сан. Ведь в этом доме жили мои предки. Как же я оттуда уйду...

— Мало ли что! Мне земля понадобилась. К тому же ты запоздал и не внес арендной платы—пять йен. До каких пор это будет тянуться?

— Садзаэмон-сан, вот вы так говорите... Но ведь эта земля попала к вам в залог всего за 30 йен. А ведь теперь такой цены на усадебную землю нет. Эта земля досталась вам потому, что у меня не было денег. Я запоздал, не уплатил в срок—это нехорошо, правда. Но теперь я как-нибудь сколочу эти деньги и верну их вам, а вы уж пожалуйста пока дайте мне землю в аренду. А я тем временем откуплю ее у вас по сходной цене.

Кихэй говорил с жаром.

— Что ж, говорят, ты теперь стал богачом—отдал дочь в город... Что ж, если хочешь, я тебе эту землю продам; за сколько ж ты хочешь ее купить?

Полицейский тащил Дэнсаку в участок...

— Я хотел бы получить ее за столько же, сколько я занял, с процентами,—сказал Кихэй, сдерживая свое горе.

— Ты занял 30 йен.

— Да.

— 30 йен да проценты за два года, по 20 процентов в год—еще 12 йен всего 42 йены. Ты хочешь выкупить эту землю за 42 йены?

— Нет, сюда надо добавить 5 йен арендной платы.

— 42 йены и 5—это 47.

— Да, я хотел бы купить землю за 47 йен.

— Кихэй-дон, опомнись! Ты сам должен знать, сколько теперь стоит гектар земельной площади. В Удзи построен пороховой завод, здесь проводится железная дорога... Цены на землю растут с каждым днем. И ты думаешь, что можно купить два гектара за 40—50 йен? Нет... я продам эту землю за 500 йен — ни полушки не уступлю... А не можешь платить 500 йен—уходи. Оно и лучше! Я вовсе не хочу иметь соседом вора.

— Значит вы думаете, Седзаэмон-сан, что это мой сын обокрал ваш амбар?

У Кихэя затряслись губы. На лбу выступил пот.

— Об этом и говорить нечего. Ведь его потащили в полицию! Это ясно, это совершенно ясно.

— А, ну раз так, я и сам не желаю оставаться на этой земле! Уйду! Ты душегуб..

Кихэй был взбешен. Он вскочил, кулаки у него сжались. Он готов был броситься на Садзаэмона. Но при виде этого Сйога, который все время стоял поодаль, подбежал к Кихэю, схватил его сзади под руки, пригнул голову книзу и вытолкал вон.

11

Наступила весна.

Чайные плантации начинали зеленеть, на кустах появлялись пески. Уже начинали готовиться к расстановке щитов, предохраняющих от заморозков: из сараев сносили бревна и рыли ямы для столбов. Владельцы приступали к починке печей. Батраки думали, куда бы им наняться на этот год.

Между чайными плантациями была бамбуковая заросль. Из-за окружающей ее ограды свешивались ветви слив и персиков. Они уже отцвели, и только поздние цветы вишен еще осыпались, роняя лепестки на листья бамбуков. Птицы весело ловили червяков.

В тени этой ограды был домик брата Кихэя—крошечный домик всего в две комнаты. Здесь временно нашел приют Кихэй с женой и сыном.

В это время с порохового завода пришло извещение о найме Дэнсаку.

На другой день Дэнсаку встал рано утром, захватил завтрак, приготовленный матерью, и пошел на завод. Еще раньше отец на всякий случай купил ему поношенную солдатскую форму. Дэнсаку завязал ее в узел и повесил за спину.

Много жителей его деревни уже ходили на этот завод. Дэнсаку вместе со всеми переправился на лодке через реку.

Когда они немного отошли от реки, раздался гудок. Отзвук его разнесся далеко кругом и затих. Дэнсаку и раньше слышал этот гудок дома, еще лежа в постели. Теперь ему было как-то и грустно и приятно, что он тоже рабочий и вместе со всеми идет на завод. Но, услышав гудок, он в то же время встревожился и ускорил шаг.

С ним вместе шло человек пять-шесть. Кто был в японской одежде—в кимоно, кто в поношенной куртке европейского покроя, видимо купленной у старьевщика. Некоторые были в солдатской форме, красной или желтой. Ни на ком не было ботинок. У всех на ногах была японская обувь—гета—деревянная подошва на двух поперечных подставочках, которые так и постукивали при ходьбе. У всех были с собой коробки с едой. Из коробок просачивалась соя.

Дэнсаку наслышался по дороге о правилах найма. Он вошел в ворота, направился к контролю у ворот, поклонился надзирателю и показал извещение о найме.

— Подожди здесь,—сказал надзиратель. Денсаку остался стоять. Его спутники уже смешались с толпой,—Денсаку не мог их отыскать глазами.

Когда замер долгий звук гудка, надзиратель собрал все оставшиеся номерки и положил их на стол, у контроля. Опоздавшие, номерки которых были уже забраны, остались за воротами и стояли совсем растерянными. Некоторые тут же поворачивались и уходили. В стуке их гета как будто чувствовалось сожаление о потерянном дне.

Вместе с Дэнсаку стояло еще больше двадцати человек.

— Станьте по два в ряд,—сказал надзиратель.

Они молча выстроились и во главе с надзирателем пошли от ворот по широкой дороге. Все отчего-то молчали, и только изредка раздавался шопот.

— Куда нас ведут?

— Верно в контору?

Дорога, по которой они шли, в сущности была аллея, так как по обе ее стороны рядами тянулись высокие криптомерии. Неподалеку была и контора. Надзиратель не поднялся по главной лестнице, а повел их в заднюю комнату в стороне. Там он оставил их ждать.

В этой комнате было много посыльных в штанах и широких куртках—„хантэн". На этих куртках на спине был большой красный круг, а в нем запутанный иероглиф. Он значил „артиллерия". На отложном воротнике тоже было название завода.

Новички сгрудились в углу. Один побрел было посмотреть кругом, но посыльные его выбранили, и он торопливо вернулся в комнату.

Немного спустя двое посыльных повели всех наружу. Рядом с конторой находились большие кирпичные здания завода. В переднем помещении вертелось огромное колесо трансмиссии, все опутанное приводными ремнями. Колесо грохотало. Из каждого заводского здания несся тонкий, острый металлический звук. Весь этот непривычный шум заставлял сердце Дэнсаку сжиматься странной робостью.

У ограды было большое продолговатое здание вроде барака. Это была рабочая столовая. Новичков ввели туда.

— Все, кто в японском кимоно, переоденьтесь в рабочее платье. Кимоно оставьте здесь. Спичек и табаку нельзя с собой брать, оставьте все здесь.

— А завтраки?

— Тоже оставьте здесь. Не видите, что ли?

Длинный непокрытый стол был весь уставлен коробками с завтраком. Слышался острый запах сои.

12

Все, кто назначен в пороховое отделение, соберитесь здесь.

Все выстроились в ряд. В этом отделении было много подростков. Больше половины всех рабочих были в возрасте Дэнсаку. Заметив это, Дэнсаку обрадовался. Потом он подумал, что все эти мальчики

как и он сам, не могут учиться в школе, а должны работать, и ему стало грустно до слез, но в то же время приятно, что он не один...

Пороховое отделение состояло из отдельных мастерских, разбросанных на большом пространстве, довольно далеко друг от друга. Было опасно из-за возможности взрыва или пожара строить их под ряд.

В цехе, куда попал Дэнсаку, работало больше двадцати человек. Как только Дэнсаку вошел, у него занялось дыхание от удушливых алкогольных паров. Голова у него закружилась. Ему казалось, что в нос колят острые иглы. Он чувствовал, что, если вздохнет еще раз, иглы вонзятся снова, и поэтому не мог перевести дух. Лица рабочих заволоклись и расплылись туманными пятнами.

— Цудзи Дэнсаку? — спросил мастер.

— Да...

Рядом грохотали и стонали машины, так что Дэнсаку с трудом услышал вопрос.

— Сколько тебе лет?

— Пятнадцать.

— Где живешь?

— В деревне Мурата.

— Сколько учился?

— Я был во втором классе старшего отделения.

— Учился в старшем отделении? Ишь ты!

Дэнсаку промолчал.

— Ну, ты будешь смазывать машины и возить тележки.

— Слушаюсь.

— Справишься, раз тебе пятнадцать. Здесь есть несколько пятнадцатилетних.

— Я справлюсь со всем, что нужно.

— Ладно, попробуй-ка, подними эту лестницу; не то не быть тебе смазчиком!

Мастер показал на большую лестницу прислоненную к кирпичной стене.

— Эту-то я снесу.

Дэнсаку напряг все силы. Спиртные пары одурманивали его, щеки горели, в ушах звенело, но он знал, что, если бы он сейчас сплоховал, ему отказали бы от места.

— Ну, принеси-ка это! — сказал мастер.

— Слушаюсь.

Дэнсаку подошел к большому табурету, на который показал мастер, и взялся обеими руками за этот весь выпачканный маслом табурет. С бьющимся сердцем, он напряг силы, налег что было мочи — и поднял. Крепко держа табурет обеими руками, с налитым кровью лицом, он принес его мастеру.

— Ха-ха-ха, справился, ну, молодчина! — засмеялся мастер. Рабочие, стоявшие рядом, тоже засмеялись. Но Дэнсаку был очень серьезен. Поняв, что ему не откажут, он облегченно вздохнул. Но все-таки он никак не мог совсем успокоиться. Сердце у него так и билось. Стоило кому-нибудь рядом заговорить, как ему казалось, что обращаются к нему, и он порывался отвечать. Он думал, что от его сегодняшнего поведения зависит сяв его судьба. Он слонялся кругом и ждал, когда же ему дадут работу.

— Эй ты, двинь-ка тележку вот с этим малым! — сказал ему наконец мастер. У тележки стоял рабочий-подросток, одних лет с Дэнсаку. У него было пухлое, круглое и сильно загорелое лицо.

— Сколько тебе лет? — дружелюбно спросил он Дэнсаку.

— Мне? Пятнадцать.

— А, значит я на год старше тебя, — сказал тот и гордо посмотрел на Дэнсаку. Дэнсаку почувствовал почтение, как к старшему.

— Куда мы повезем тележку?

— Мы поедем за мезгой, — ответил мальчик. Слово „мезга" прозвучало для Дэнсаку как-то странно.

— Моя фамилия Фудзиноси, а тебя как зовут?

— Меня зовут Цудзи Дэнсаку, — робко ответил Дэнсаку.

Потом оба они покатили вагонетку. Она была пустая и легкая. Когда дорога пошла под уклон, Фудзиноси одним прыжком вскочил в нее и покатил в тележке. Он пристально оглядывался кругом. Он все время был настороже: не заметил бы его кто-нибудь из инженеров. Новичок Дэнсаку боялся и поэтому запыхавшись бежал сзади за быстро катящейся тележкой.

Потом они вынесли три больших ведра и поставили их на тележку. В ведрах была густая белая масса — бумажные очески, растворенные в азотной кислоте и пропитанные спиртом. Это и была мезга — сырье для пироксилинового пороха. Вся масса была плотно спрессована, как густое желе.

На обратном пути надо было подыматься в гору. Оба мальчика налегли плечом на углы тележки и охая двигали ее перед собой.

В цеху стояли машины, похожие на большие железные чаны. К осям шли приводные ремни. Очески положили в чаны, помещавшиеся посредине машины, и чаны завертелись как волчки.

13

Работа начиналась в семь часов утра. Солнце уже стояло высоко, и в окрестных полях уже работали крестьяне, когда Дэнсаку торопливо шел на работу. От жары на лбу у него выступал пот. На голове у него была поношенная широкополая шляпа, купленная недавно за 25 сен. Двадцать пять сен для Кихэя была большая сумма. Это была первая европейская шляпа Дэнсаку, а его солдатская форма — первый европейский костюм.

Но Дэнсаку гордился даже этими поношенными вещами. Раньше он носил только заплатанную японскую рабочую куртку. Он думал, что теперь на нем как-никак настоящий европейский костюм, — может быть городские жители не будут смотреть на него с таким презрением, как раньше.

По сторонам на солнце сверкала нежная зелень чайных кустов. На плантациях работали молодые девушки; головы у них были

Напрягая все силы Дэнсаку поднял лестницу.

повязаны белыми полотенцами, рукава подвязаны красной тесьмой. За работой они пели.

В этот день Дэнсаку вышел немного поздно: уже прозвучал первый гудок. Обычно он приходил раньше. Он боялся, что опоздает, и пошел быстрей.

На встречу ему шло несколько мальчиков в европейских куртках. Дэнсаку безразлично взглянул на них: хотя они были одеты по-европейски, но это не были рабочие с его завода. Только когда они подошли ближе, Дэнсаку увидел, что это ученики средней школы из Фудзи. Они повидимому шли в школу. На них были фуражки с толстым белым канатом, за плечами ранцы. На солнце сверкали форменные пуговицы курток. Они шалили, толкали друг друга, смеялись.

Дэнсаку невольно посмотрел на свою поношенную неуклюжую форму, на свою широкополую шляпу, на дешевые гэта, на завтрак, завернутый в белый платок, через который сочилась соя...

Школьники всегда относились к крестьянским мальчикам с презрением. Товарищей Дэнсаку они называли „жабами". Это потому, что все они носили европейские костюмы с чужого плеча, не по росту, и поэтому у них была такая распухшая фигура точно у жаб.

Дэнсаку съежился и шел с самого края дороги, как раз похожий на такую „жабу". Он был похож на щенка, который пробирается мимо большого сердитого пса. Он хотел быстро проскользнуть мимо и все старался спрятать за спиной узел с завтраком Но уже в воздухе прозвучало:

— Жаба!

Когда Дэнсаку услышал этот возглас, лицо у него вспыхнуло, в ушах зазвенело. Он шел как во сне.

За спиной у него раздался веселый смех.

Дэнсаку вспыхнул от гнева. С загоревшимися глазами он оглянулся вслед школьникам. Но вдруг раздался второй гудок. В голове у Дэнсаку все завертелось. Он сжал узел с завтраком и бросился бежать.

Как всегда, он с багровым лицом работал в полной спиртных паров мастерской. Как всегда, привезли мезгу, положили ее в чаны. Чаны завертелись, хлынули удушливые пары. Голова у Дэнсаку слегка кружилась. Он сливал стекающую из чана бурую жидкость, а в ушах у него все время раздавалось: „Жаба! Жаба!"

Дэнсаку думал. Когда он был крестьянином, работал в поле, городские жители смеялись над ним и дразнили, говоря, что он „режет лягушек". Теперь, когда он сбросил это и поступил на завод, его бранят „жабой". Всюду его презирают, всюду издеваются а он...

Дэнсаку с детства был робкий мальчик Его всегда оттирали. Ему самому казалось, что он жалкое существо, что всякий, с кем он имеет дело, лучше его. Но чем скромней он был, чем смиреннее он держался, тем больше его презирали и унижали. Теперь Дэнсаку не хотел больше с этим мириться. В нем подымался гнев. Он уже не был ребенком и не мог так легко мириться с насмешками.

Взгляд Дэнсаку упал на его товарища, Фудзиноси, который как раз смазывал ось. Дэнсаку подумал, что детство этого мальчика было так же безрадостно, как и его. И теперь они работают вместе. Да, здесь на заводе он может найти настоящих товарищей.

Он вспомнил, как они недавно подрались. Дэнсаку оказался сильней, и Фудзиноси заплакал. Дэнсаку вспомнил, как он его обидел, и ему стало жаль. Решительно это было нехорошо.

— Фудзиноси, осторожней! Я принесу тебе лестницу, — крикнул он.

Перевод с японскаго и обработка

Н. Фельдман.

ПИСЬМА ДЖЕКА ЛОНДОНА

М. Жестев

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дорогой Дик! Итак, море снова разделяет нас. Ты слушаешь, как на стенде вздрагивает очередная метро-виккерсовская турбина, у меня под боком каюты днем и ночью шумит судовая машина „Виктории". Туманы застилают море. Чорт возьми, не совсем приятно, когда такая погодка провожает тебя от Ламанша. „Викторию" качает и бросает из стороны в сторону. Это однако не мешает мне чувствовать под руками стол и писать обычным ровным почерком. Недаром же я заслужил от тебя прозвище Джек Лондон. В Америке я знаю побережье Гудзонова залива так же хорошо, как шофер такси набережную Темзы. Я прошел Юкон вплоть до Берингова моря. В Европе позади остались Германия, Бельгия, Франция, Англия. Я слишком много видел, слишком много странствовал, чтобы помнить о своей родине—маленькой ферме, недалеко от Кенигсберга.

Ты прозвал меня, Дик, Джеком Лондоном. Но Джек Лондон писатель меньше видел, чем Джек Лондон безработный, уволенный последним своим хозяином Метро-Виккерсом. Я на хозяина не сержусь. Если у лавочника нет покупателя, незачем держать приказчика.

Сегодня, поднимаясь по трапу, я случайно толкнул джентльмена. Сто извинений — это был мистер Анис. Дик, я вспомнил твое последнее напутствие: „Джек, желаю тебе больших долларов". Оказывается, за большими долларами едут не только безработные. Мистер Анис едет консультантом в ту же страну, что и я. Это я узнал от помощника капитана. Итак, два метро-виккерсовца направляются в Советскую Россию на одном судне, может быть в один город и даже на один завод.

Что это за страна—Советская Россия? Дик, я беседовал со многими матросами. Они ведут „Викторию" в третий рейс. Дважды они пришвартовывались к ленинградскому порту. Дважды своими собственными ногами исхаживали Ленинград вдоль и поперек. На этом все показания сходятся. А дальше начинается бедлам.

Старый штурман с усами, похожими на седой гребень океанской волны, уверяет, что он собственными глазами видел мэра города в сапогах со стоптанными каблуками. Кочегар клянется, что только на советском судне кочегары чувствуют себя настоящими людьми. Два матроса машинной команды короткими ударами бокса пытались растолковать друг другу свою точку зрения на Советскую Россию.

Для меня все ясно. Еду за долларами! Будут доллары—остальное само придет.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Шестьдесят дней назад я сошел по трапу „Виктории" на гранитную набережную Ленинграда. Англия кончилась. Началась Советская Россия. Метро-Виккерса нет. Есть завод им. Сталина.

Что тебе сказать об этих днях? Дик, мы были наивными юнгами, когда доверчиво кивали мастеру Эвену головой, философствуя вместе с ним о превосходстве англичан. Передай Эвену, что в этой стране англичане перестают быть англичанами. Вот здесь в Ленинграде, на заводе им. тов. Сталина, я видел англичан! Но они не англичане, а обыкновенные русские рабочие.

Спроси у мистера Аниса, когда он снова вернется в Англию.

Анис у твоего хозяина Виккерса—отличный знаток турбин. Он знает нутро турбины лучше, чем все кочегары и железнодорожники Англии предательскую душу Томаса. Мощность турбин мистер Анис может разделить на число лопаток диска и в каждом изгибе лопатки видеть киловатты. Он отличный знаток турбин, этот мистер Анис!

И вот этот самый Анис никогда в жизни так много не удивлялся, как здесь в Советской России. Что с ним произошло? Мне кажется, что дело не в нем. Он—тип, как говорят русские, он—тайп, как говорят англичане. Он создан самой жизнью. И часто, когда я вижу мистера Аниса входящим в цех, я говорю сам себе:

— Вот она удивляющаяся Англия в удивительной России!

Это мое письмо к тебе, дружище Дик, можно озаглавить письмом о непонятных вещах. Буря провожала „Викторию“, буря встретила меня и здесь на турбинном заводе. Каждый день в цехах, пролетах, по мастерским и бригадам шли собрания, заседания, летучки.

Сколько Метро-Виккерс думает выпустить киловатт турбин в этом году? Если не ошибаюсь, 600 тысяч киловатт. Сталинцы еще в прошлом году считали себя учениками твоего хозяина. Они тогда выпустили около 200 тысяч киловатт. Еще с прошлого года кое-где в цехах сохранились плакаты: „Давайте по-настоящему учиться у Метро-Виккерса“. Прошел год. И вот трест решил: надо удвоить программу. Удвоить! Ты понимаешь, что это значит!

Но даже эта огромная программа вызвала в цехах бурю недовольства.

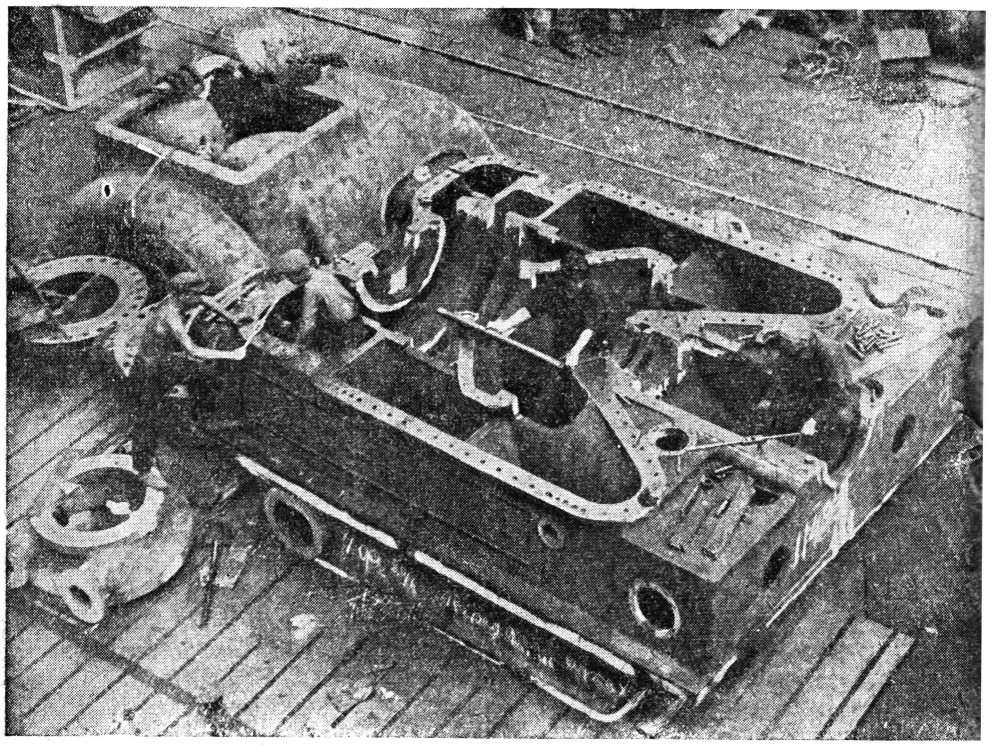
— Не удвоить, а учетверить! Не 400, а 800 тысяч киловатт турбин!

Дик, тут есть чему удивляться. Ветры со станда из цехов смяли план треста, как шторм разрывает на части парус погибающего бота. Люди разделились на два враждебных лагеря. Одни, которых было меньше и которые выставляли 400 тысяч, назывались маловерами, другие, которых было большинство,—большевиками.

— Нельзя восемьсот тысяч киловатт!

— Можно восемьсот тысяч киловатт!

Мистер Анис по-моему склонен был думать, что нельзя выпустить ни 400 ни 800. Я был ни за ни против. Меня



На заводе им. Сталина строится вторая 50-тысячная турбина для Невдустроя.

интересовало другое. Однажды как-то после собрания я попросил одного молодого мастера, знающего хорошо немецкий язык, разъяснить мне, почему из-за 800 тысяч киловатт устроен бой, напоминающий бой под Верденом? Я лично не видел никаких причин, которые толкали бы рабочего спорить и драться за 800 тысяч киловатт.

— Разве у вас есть безработица?— говорю я. — Разве четыреста тысяч плохо? Пусть спорят те, кто в тресте, а рабочему была бы работа.

Мастер меня не понимает. Он смотрит сначала каким-то пустым, ни о чем не говорящим взглядом. Потом его лицо покрывается морщинами недоверия. Он о чем-то думает. Может быть он в чем-нибудь меня подозревает? Или может быть он ищет понятных для иностранца доказательств? И вдруг, неожиданно, мастер улыбнулся:

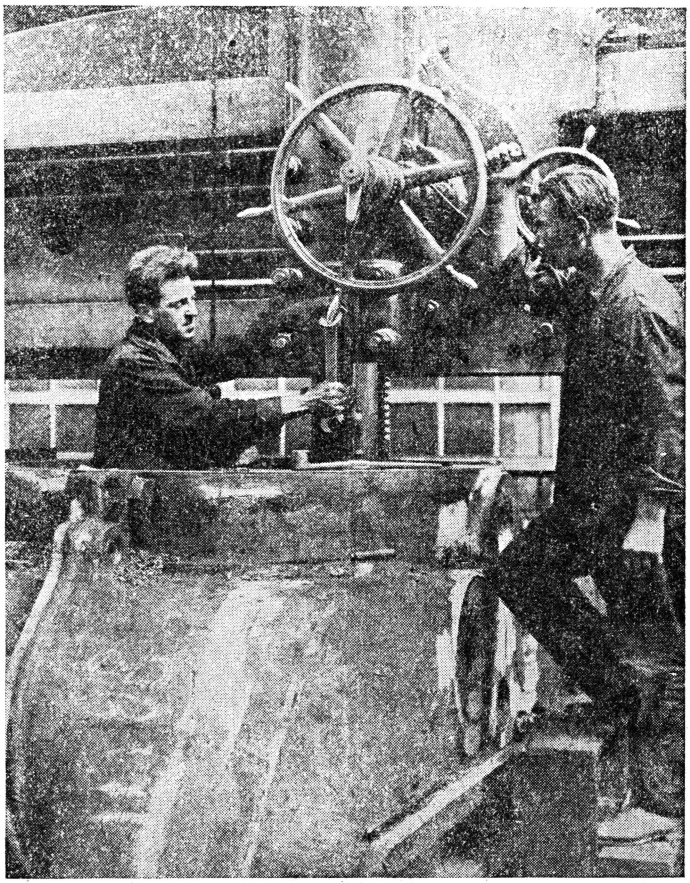
— Товарищ не понимает, что рабочий Сталинского завода — хозяин завода!

Тогда я морщу свой лоб и недоверчиво гляжу на мастера. Дик, я был однажды в квартире этого человека. Я видел выцветшие обои его комнаты, трогал рукой плохо выкрашенную старую кровать.

Я не мог не спросить:

— И ты хозяин?!

Мастер засмеялся так, как смеется культурный человек, видя дикаря, напялившего на ноги смокинг вместо брюк. Но я был упорен. Я забыл, что я гость.



Обработка крупных деталей для новой турбины.

— Ты хозяин,—говорю я.—Хорошо! Но объясни, как может быть хозяином человек, у которого ничего нет? У меня в Англии была комната, — я не считал себя хозяином. У матера Эвина— квартира, но он не столько сам хозяин, сколько стоит за хозяина. Мистер Анис... но ведь и он не хозяин. Хозяин— Виккерс!

Дик, мастер говорит мне, что надо переделывать мозги. В мире, уверяет он, появился новый хозяин. Пусть он живет пока в одной комнате, и все же лучшего хозяина не знает мир. Мне это не совсем понятно, но голос мастера звучал правдиво.

Те, которых называли маловерами, пугали сталинцев-большевиков штормовыми сигналами плохого снабжения, недостатка оборудования, слабой емко-

стью станда. И все же большевики не отступили. Они нокаутировали план треста ударом в восемьсот тысяч киловатт. И это последнее—самое непонятное для меня.

Ведь трест руководит заводом — так? Завод должен подчиняться тресту! Кто хозяин по-твоему? Трест? Ничего подобного—сталинцы! Тебе не понятно? И я ни черта не понимаю.

А Анис ходит по цеху и удивляется:

— Восемьсот тысяч киловатт в год! Немыслимо! Пять турбин по пятьдесят тысяч киловатт — невозможно! Одно дело—коммунистически, другое—технически.

Действительно, что они будут делать со стандом? Станд пропускает максимум три турбины в месяц. А по плану выходит, надо пропускать не меньше четырех.

И не тебе, Дик, кто собирал пятидесятитысячную турбину для станции Сен-Дени в Париже, говорить, что значит выпустить такую машину. Много ли собрал Метро-Виккерс? Одинокие маяки в море электрических волн.

Но ведь ты меня изучил не хуже турбины. Так слушай:

Вчера я написал в местную газету заявление. Я отказываюсь от получения заработной платы в долларах.

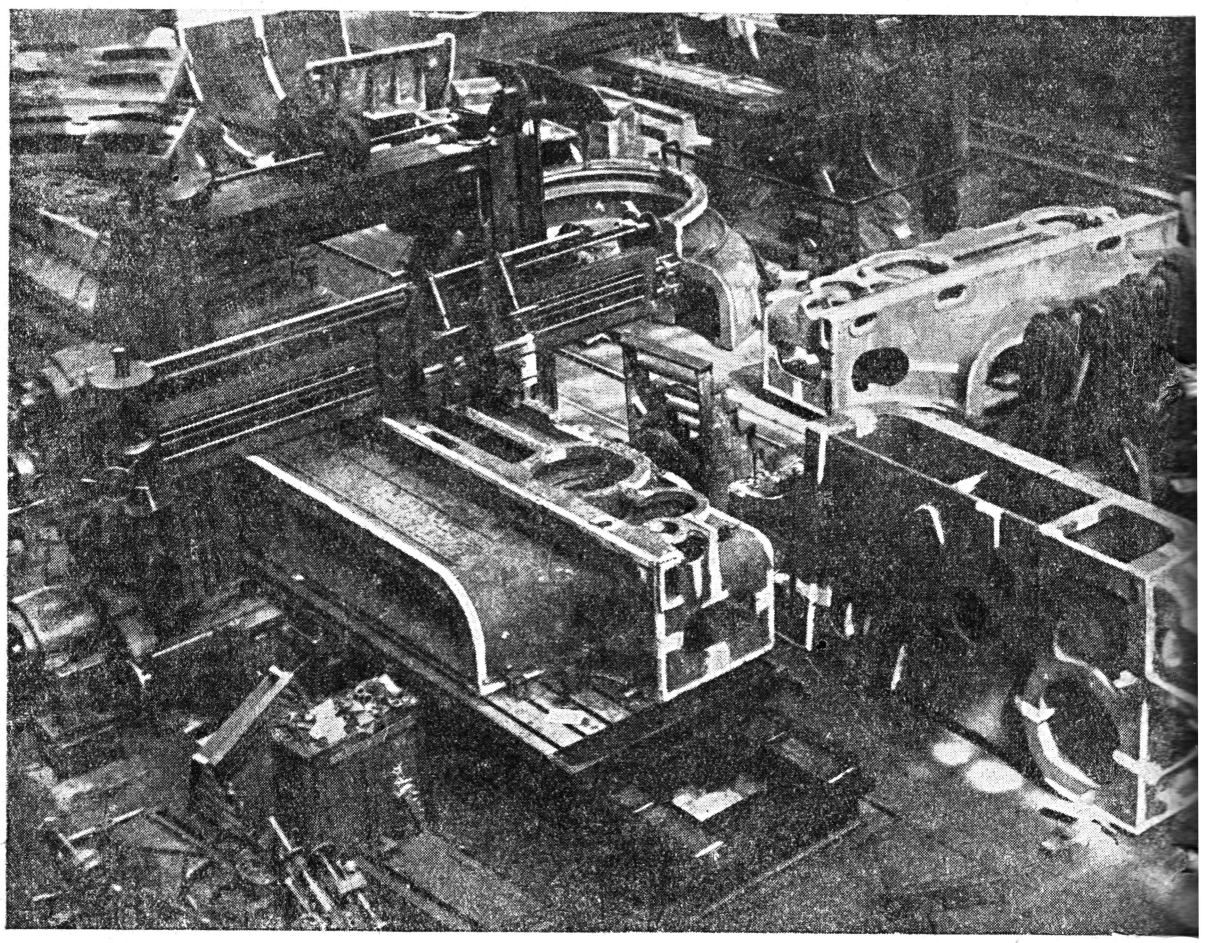
Мне кажется, что я как будто что то начинаю понимать.

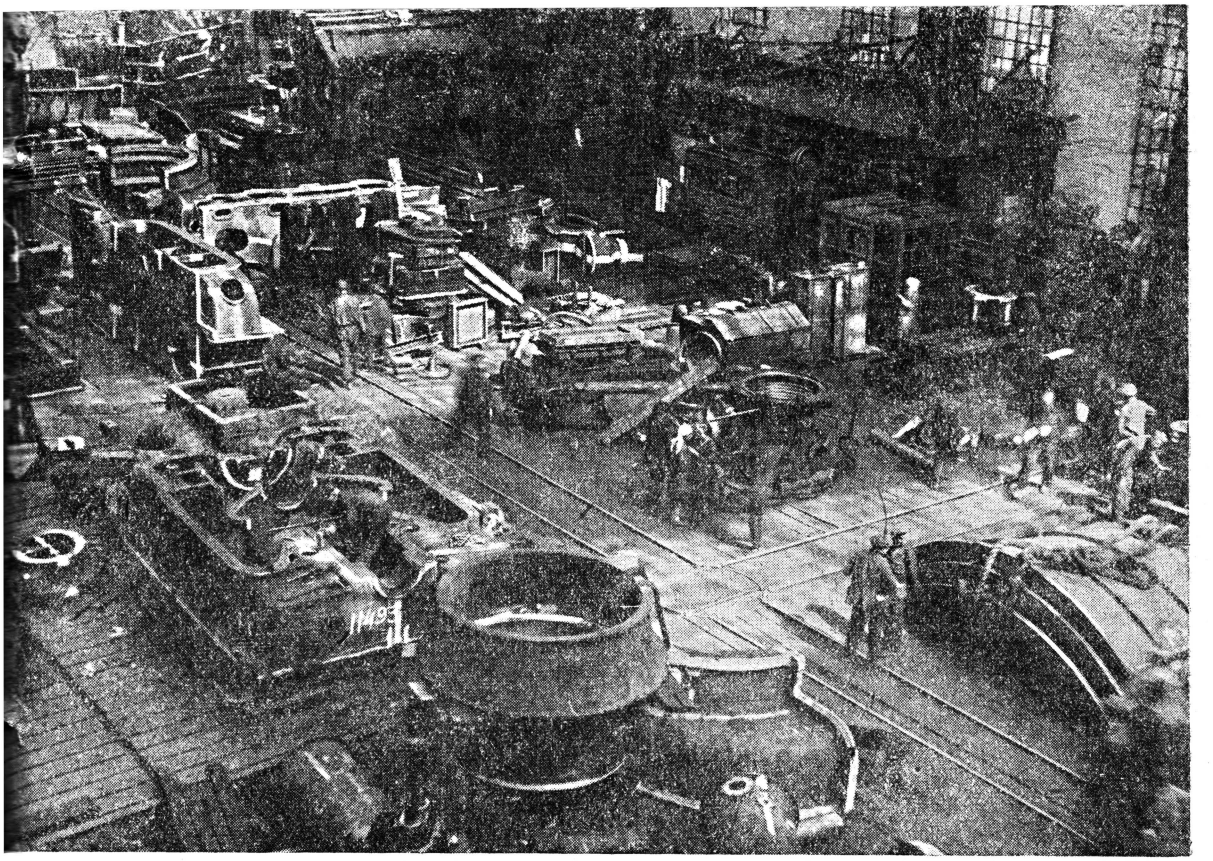
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Дик, мы держим курс на пятидесяти тысячную турбину. Мы приступили к ее постройке. Но не столько о турбине, которую ты знаешь, а о людях, которые делают эту турбину и которых ты, к сожалению, не знаешь, я хочу тебе рассказать.

За цифрами скрываются люди. Поймешь людей—все поймешь. Здесь многих людей называют героями пятилетки. Это верно и неверно. Мы привыкли считать героев по пальцам, а их здесь большинство.

Но эти герои ничего не имеют общего с героями твоего любимого писателя Джека Лондона. У него предприимчивые дельцы, ловкие боксеры





Сборочный цех турбинной мастерской.

хитрые авантюристы. Джек старался показать сверхчеловека. По-моему, он ошибался, если думал, что его герои—сверхлюди. Джек Лондон писатель рано умер. Он должен был побывать в стране, где живет Джек Лондон бывший безработный. Это я говорю честно, как самому себе.

Дик, сегодня я понял, что действительно в мире появился новый хозяин. Сегодня я понял, каков может быть сверхчеловек.

... С утра в литейной шла плавка. Бригада формовщика Наседкина готовилась к отливке верхней крышки цилиндра пятидесятитысячной турбины. Наседкин бегал вокруг земляной формы, в последний раз проверяя, не осыпалась ли где-либо земля, в порядке ли кромки. Ему помогали формовщики Лоханков и Корякин. Форма была в исправности.

И все же формовщики волновались. Им нехватало пустяка—старых тряпок и ветоши для прокладки. Здесь на заводе нередко бывает, что маленькие преступники ставят преграды на пути больших дел. На этот раз преступником оказалась контора снабжения.

То один, то другой формовщик через каждые две-три минуты выбегают за ворота литейной. Они звонят по телефону в контору снабжения, они наседают на мастеров. А тряпок все же нет. Я понимаю Наседкина. Он должен был волноваться. Первый раз в жизни формовщики хотели, чтобы металл как можно дольше плавился в вагранке.

Но вот вагранщик берет пробу. Вот медленно плывет к желобу вагранки подъемный мостовой кран. Огромный ковш пока еще ржав и холоден. Проходит минута. Неожиданно из желоба вагранки потоком хлынул металл. Он бьет, разбрасывая дождь искр. Ковш полон. Вздрагивает, натягивая тросы, кран. И медленно, раскачиваясь в синем дыме литейной, наполненный металлом ковш поплыл к месту заливки крышки цилиндра.

Дик, я считал, что плавка уже пропала. Она пропала бы в лучшей литейной мира, где работают лучшие квалифицированные литейщики. Но она не могла пропасть в стране, где хозяин— сам рабочий.

Все произошло в несколько секунд, на глазах у всего изумленного цеха. Словно по молчаливой команде Наседкин, Лоханков и Корякин решили судьбу плавки. Я видел быстро движущиеся руки. Я видел несколько торопливые, но четкие движения. Наседкин, Лоханков и Корякин сбрасывали с себя одежду. Так же быстро они закладывали ее вместо прокладки.

Едва под темными сводами литейной успел застыть в неподвижности кран, как люди, разогнув свои голые спины, подали команду:

— Спускай!

Полуобнаженные Лоханков, Корякин и Наседкин принимали ковш с расплавленным металлом.

—Подай вперед, вправо, стоп!

Отличную крышку, первую крышку пятидесятитысячной турбины отлили в этот день сталинские литейщики.

Что ты скажешь, Дик? Что сказал бы мастер Эвен? Я передаю то, что видел сам. И только одно могу добавить от себя:

— Дик, в мире действительно появился новый, невиданный хозяин.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Я писал тебе, что понял людей этой удивительной страны. Но это оказывается не так легко, как кажется. Иначе я бы не совершил одной большой ошибки.

Начну с того, что я выступил вместе с Анисом против намеченных сроков постройки пятидесятитысячной турбины. Дело было в марте. В Ленинграде вьюжила метель, и в Финском заливе ледоколы вели в порт суда. Как раз в это время русские товарищи и решили собрать турбину к июлю.

Когда мистер Анис узнал об этом, он написал большое письмо техническому директору завода им. Сталина. В нем он писал:

„У Метро-Виккерса, чтобы сделать такую большую турбину, требуется 9 месяцев. Сроки завода подходящи лишь для того, чтобы сделать большую ошибку".

И все же русские товарищи решили построить турбину в $3^1/_2$ месяца. Не позже июля! Я считал, что Анис прав. Нет, я не забыл, как отливали крышку цилиндра. Я помнил героев литейной, заложивших прокладкой свою одежду.

Но ты пойми, Дик, когда строишь турбину, надо знать технику, а уж потом быть героем. Я сказал об этом мастеру-турбинщику, тов. Тимофееву.

Тимофеев лишь улыбнулся.

— Товарищ сам увидит, кто прав.

... Цилиндр низкого давления шел на расточный станок. Девять металлических глыб общим весом в 80 тонн лежали у подножья станка. Ночью при электрическом свете они блестели своими отстроганными плоскостями соединений. Но ведь ты сам знаешь, что отстрогать цилиндр, в особенности там, где он соединяется с крышкой, мало. Надо шабрить под краску, а все это делает возможным установку цилиндра на расточку не раньше, как через двоетрое суток.

В ту ночь, когда устанавливали цилиндр, я был в цехе. Бригада слесарей Маслова вместе с расточниками возилась с чугунными махинами. Они работали и ругались одинаково хорошо.

Утром, ровно в 6.45, расточный станок снял первую стружку. Теперь представь себе положение мистера Аниса. Накануне днем он был свидетелем, как начали устанавливать цилиндр. Анис уверен в технической норме своей фирмы. И вдруг... может быть он пропустил незаметно целые сутки?

Спокойствие однако быстро возвращается к мистеру Анису. Он догадывается, что сборка произведена без шабровки. Он достает щуп. Тонкая как бумага стальная линейка. Анис протягивает руку к шву, соединяющему цилиндр с крышкой. Мастер Тимофеев улыбается. Я вижу, как, натыкаясь на точно пригнанный шов, линейка скользит у Аниса меж пальцами, сползая вглубь сжатой кисти. Анис понял, что строгали так чисто отделали соедине-

ния, что даже не потребовалась шабровка. Он достает свою записную книжку:

— Уэлл, уэлл!

Кругом смеются.

— Вот тебе и уэлл!

Дик, вот когда я понял, что строят и герои и люди, которые не на шутку усваивают технику.

... Расточник Семенов — маленький круглый человек. На том же станке, что и он, во вторую смену работает Теодор Бруно. Я был свидетелем, как под влиянием Семенова хозяевами начали чувствовать себя и мы, иностранные рабочие.

Теодор работал резцами „видиа", Семенов—на самокале. И все же Семенов шел впереди. Он работал двумя резцами. Но Бруно не хотел отставать. Он, который очень часто до этого спокойно относился к простоям, неожиданно загорелся. Он догонял Семенова. А Семенов уходил от него. Однажды в обед я застал Семенова у станка. Он что-то вычислял на маленьком листочке бумаги. Увидев меня, Семенов подозвал молодого мастера, того самого, о котором я тебе уже писал, и через него спросил:

— Скажи, что дешевле — ускорить расточку цилиндра или сжечь 15 резцов?

И я ответил так, как ответили бы сотни турбинщиков-сталинцев, но как вряд ли ответил бы я неделю тому назад:

— Я бы сжег резцы, сгорел бы сам, но ускорил бы расточку цилиндров.

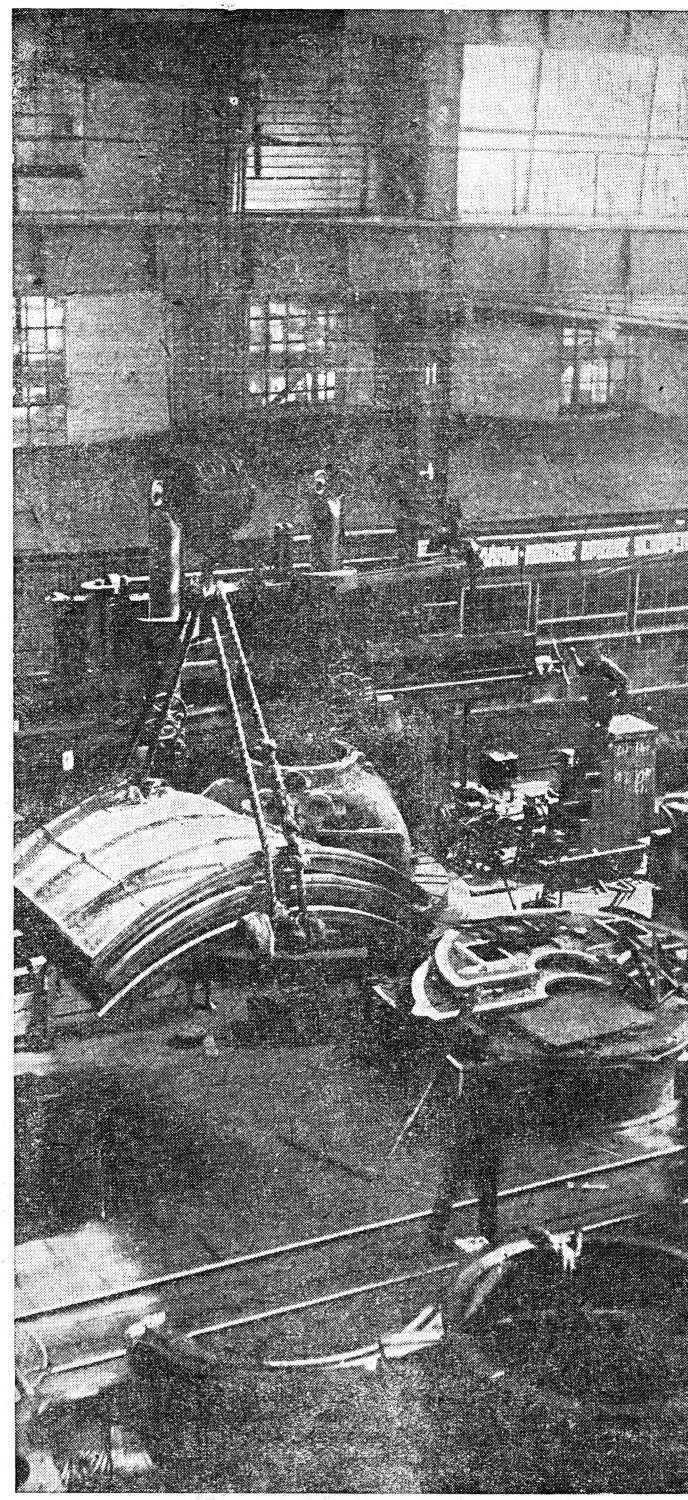
Так я ответил, Дик. И по глазам мастера я понял, что имя честного английского рабочего я вынес из испытания с честью.

Я исправил свою ошибку. Я говорю:

— Мистер Анис был неправ. Мы обработаем и соберем турбину в $3^1/_2$ месяца.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Расточка кончилась. 80 тонн обработанного литья — цилиндр низкого давления—надо перенести на станд. Мистер Анис как консультант с вечера дает указания разобрать цилиндр



Кран подает детали для турбины.

и по частям произвести переноску. Это было 23 июня. Учти, Дик, нам оставалось 7 дней. Разобрать, перенести и снова собрать цилиндр — значит потерять три дня. Мистер Анис ушел, но остался Тимофеев, и он отдал распоряжение:

— Ставить цилиндр на станд без разборки.

Я посмотрел на подъемный кран. Его грузоподъемность рассчитана едва но половинный вес цилиндра. „Невозможно",—говорю я сам себе. Но сказать это вслух я не решаюсь.

Цилиндр поставили на бревна. Электрическая лебедка медленно, но верно потянула невиданный фургон к стандовому пролету. Бригада такелажников Рыбака работала так, как ни одна бригада стропальщиков в лондонском доке. У самого станда два крана, объединив усилия, по одной команде, потянули цилиндр и бережно опустили его на станд.

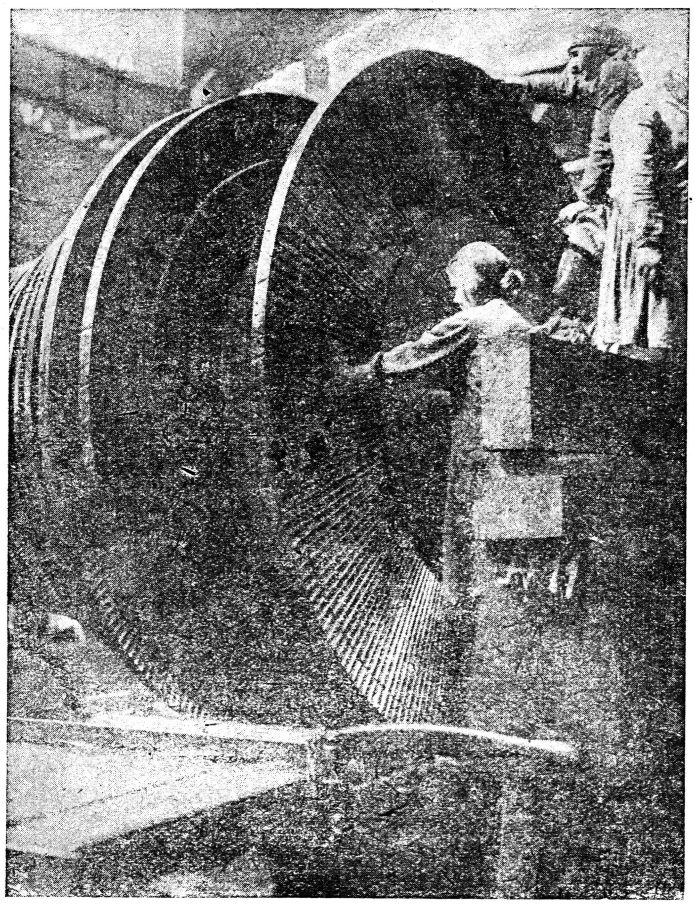
И вновь удивился мистер Анис.

И он будет удивляться до тех пор, пока не поймет одной своей большой ошибки. Мистер Анис считает, что возможное коммунистически — это одно, возможное технически — другое. Он не поймет своей ошибки до тех пор, пока будет считать себя турбинщиком своего хозяина.

Но то, что недоступно пониманию мистера Аниса, чего никогда не поймут хитроумные лидеры партии Макдональда, то понятно простому английскому рабочему.

Я скажу:

— То, что возможно коммунистически, возможно и технически.



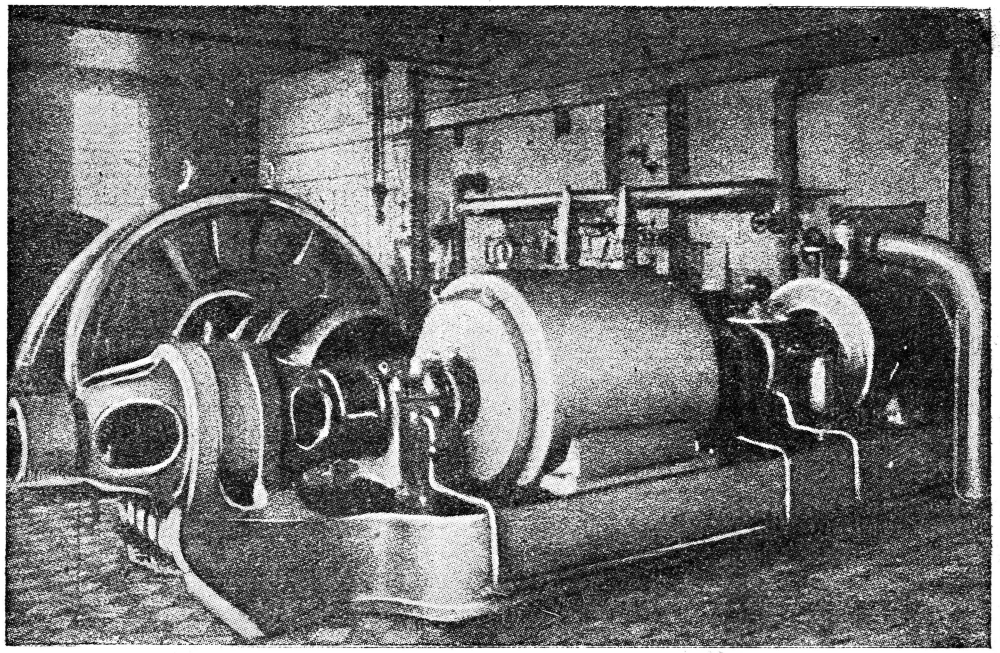
Очистка ротора.

Помнишь, я писал тебе о станде. Технически было установлено, что станд может пропустить не больше 3 турбин в месяц. По-коммунистически требовалось, чтобы станд пропускал не менее 4—5 турбин. И вот сейчас стандможет пропускать даже 6 турбин.

Как это произошло? Мы не затратили ни одного доллара на переоборудование станда. Ты знаешь, что турбины для испытания обычно устанавливаются поперек станда. Однажды инженер Дорохов приходит в комитет партии и говорит:

— Надо устанавливать турбины на станде по параллели. Тогда можно увеличить его пропускную способность.

Проверили. Действительно Дорохов оказался прав. Кто-то пред-



Первая 50 тысячная турбина, выпущенная заводом им. Сталина.

лагает премировать инженера. Инженер протестует:

— Это не я предложил, это мастер Есипов.

Вызвали Есипова.

— Твое предложение?

Есипов нерешителен.

— Мы беседовали однажды с бригадирами, вот и...

Пошли к бригадирам. И один из них сказал:

— Нет сборщика, который над этим делом не думал, а кто первый додумался—не найти.

Дик, ты простой честный английский рабочий. Понимаешь ли ты теперь, почему то, что возможно коммунистически, возможно и технически?

В эти дни и ночи я видел много людей: людей энтузиазма, натиска, людей большевистского склада ума. Я видел, как руководители завода, товарищи Кайрук, Арно, Дижур, днем работая в заводском комитете, ночью возглавляли бригады станочников и сборщиков. Я видел, как молодые турбинщики почти силой выводили из цеха секретаря заводского комсомола, Лешу Иванова.

Я все это видел. И только тогда я понял, какая разница между турбинами, которые выпускает Метро-Виккерс, и турбинами-сталинками.

Я не люблю пророчествовать, но эта машина даст себя почувствовать рано или поздно в Лондоне. Не случайно каждый раз, когда сталинцы ставят на станд новую турбину, у них такое чувство, будто они ставят на станд грядущее мировой революции.

Знаешь, когда я смотрю на этих людей, я думаю:

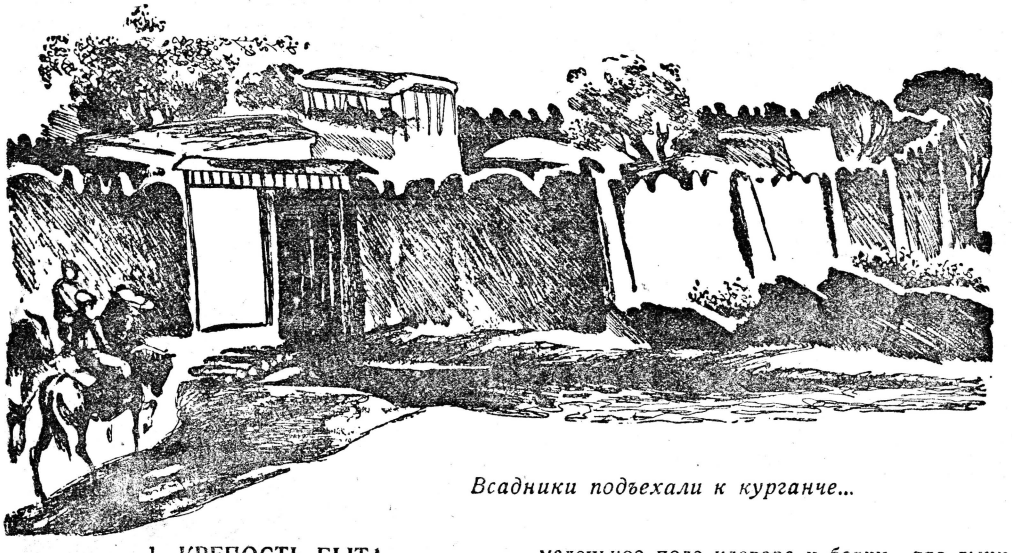
„Эти люди — герои! Советская страна знает их имена. Надо, чтобы их имена знали рабочие всего мира. И как жаль, что я — только Джек Лондон, бывший безработный, а не Джек Лондон, великий писатель".

Дик, такова наша жизнь, наши люди и наши социалистические новости. Турбина на станде, турбина испытана. Мы догнали Метро-Виккерса. Догнали крепко, вплотную. Еще полгода — и Виккерс останется позади.

Что слышно у вас? Ждем большевистских новостей!

КОЛХОЗ И КУРГАНЧА [1]

Мих. Зуев-Ордынец *Рис. В. Рождественского*



Всадники подъехали к курганче...

1. КРЕПОСТЬ БЫТА

Вот, поглядите-ка!—сказал Вакулин [2], затягивая повод.—Это и есть Курганча, хутор или усадьба, называй как хочешь.

Перед всадниками высился дувал, полуторасаженная глиняная стена, по углам подпертая мощными выступами. С улицы ничего не было видно,—ни деревьев ни строений.

— Мужик прятал за дувалом от постороннего взгляда все,—скот, жену, даже зелень своего сада,—сказал Сайдометов [3].—Каждый посторонний—это враг. От него отгораживались дувалом, стеной отчуждения и ненависти. Наш колхоз в прошлом—это становище курганчей, это сотни старых перепутавшихся дувалов. А за каждым дувалом—свой отдельный мирок: „Чтоб ноги твоей курицы не было за моим дувалом!" „Ай, ну! Я твоему ишаку ребра выломаю, если он забредет в мою курганчу!" Позже кричали по-другому: „Пусть я лучше умру на своем дувале, защищая свою курганчу, но не пойду в ваш проклятый колхоз... Умру на своем дувале, понимаете?" — Заглянем внутрь, хотите?

По мостику, перекинутому через широкий арык у самых ворот, они въехали внутрь курганчи. И прошлое встало перед ними. За дувалом было поместье, отгороженное от всего мира как средневековый замок и как средневековый замок снабженное всем необходимым на случай осады. Вдали, за глиняным же домом, вился виноградник, лежало маленькое поле клевера и бахчи, где дыни, лук, помидоры. Земляная насыпь для вечерних отдыхов, цветник и пяток тутовых деревьев, на одном из которых висела камышевая клетка с перепелкой. Налево от ворот расположились хозяйственные постройки: аш-хана (кухня), конюшня, хлев, теперь пустые,—лошадей и волов свели на общий скотный двор.

— Ведь это бывшая крепость!—вскрикнул удивленно художник.

Он увидел вдоль стен широкие карнизы: на них, возле бойниц могли встать защитники хутора-крепости. Над воротами, прошитыми железом и такими узкими, что двоим всадникам не разъехаться, стена нависала выступом и на нем стояли большие бочки. Древнее противобосадное средство! Если враг подожжет ворота, бочки опрокинут, и вода через прорез стены хлынет на воротные полотнища.

Выбрались на дорогу сплошь в деревьях, как длинный бесконечный сад, пустили лошадей „хедой", оригинальным, бережливым аллюром, которым басмачи наезжают своих коней.

— Интересно было поглядеть, как мы впервые спустили трактор на дехканские поля,—рассказывал, поигрывая комчей, Вакулин.—Фыркнул несчастный „Джон-Дир" разок-другой и уперся в дувал. Повернулся, опять фыркнул пару разков и опять в дувал лбом! Каждое поле было огорожено дувалом. Остановился трактор, а дехкане призадумались. Видят они—давленое дело, нечего „Джон-Диру" делать на их клочках. Надо рушить дувалы, надо и вправду не только в резолюции, но и на деле отдавать свой

[1] Ленинградский рабочий, 25-тысячник.
[2] Колхозный агроном.

собственный клок в общее пользование. А для мужика расстаться с собственностью— это такая боль, что нам с тобой никогда не понять! Но, надо сознаться, наши дехкане долго не думали. Взяли кетмени и повалили дувалы. Так и получилось общее колхозное поле, общая „белая нива“...

По обеим сторонам дороги лежала „белая нива“.

Мягко отсвечивала взрыхленная супесь, отвоеванная у пустыни, верней сама пустыня, покоренная и приручённая. Совсем еще недавно взметал ее трактор, а большевистский сев оплодотворил семенами хлопка.

— Упланд!—взмахнул плетью Сайдаметов.— Американский, длинноволокнистый сорт. Знатный иностранец! На днях, потерпите, покажем вам иностранца еще более знатного.

А Вакулин добавил:

— Участок второй комсомольской бригады. Ее вспашка и сев. Перейдя с двух смен на три, ребята добились перевыполнения плана на пятьдесят процентов.

2. ЧЕРЕПАХА

Небо побледнело от жары. Лошади взмылились и начали опускать головы.

— Жарко, спасенья нет, вытирая вспотевшее лицо, говорил изнеможенно художник.

— Здесь всегда жарко,—извинился Вакулин.—Скоро приедем, терпи, брат.

— Приехали уж,—крикнул, спрыгивая с седла, Сайдаметов.— Слезайте, товарищи, и привязывайте лошадей вот к этому столбу.

— Что это такое?—спросил тихо, оборвавшимся от крайнего изумления голосом художник, глядя на столб, к которому Сайдаметов привязывал жеребца.

К столбу на высоте человеческого роста была прибита огромнейшая, вырезанная из фанеры и грубо раскрашенная черепаха. Под ней доска, с надписью по-туркменски, ниже по-русски:

Не уйду до тех пор, пока не ликвидируете свой прорыв.

— Ты же видел красное знамя на комсомольском участке?—сказал Вакулин. — А это знамя отстающих бригад. Награда за прорыв. Символ черепашьих темпов. Кроме того ежедневно джарчи, особый крикун, объезжает все колхозные курганчи, трубит в этакую иерихонскую трубу-карнай и выкликает имена занесенных на доску позора и доску трудовой чести, конечно с соответствующими разъяснениями. Действует, лучше не надо!

Писатель оглядывал с седла поле, усеянное черными тельпеками, изредка саллё и выцветшими на солнце тюбетейками... Бригада работала конвейером. Впереди, как цепь застрельщиков, шли кетменщики. Крепкими ударами кетменей они очищали поле от сорняков, колючки, бурьяна и кочек прошлой вспашки. За кетменщиками шли те, для кого они расчищали путь, не дедовские омачи или азалы, а конные сакковские плуги. Мышцы плугарей напряжены, плуг идет ровно, лемеха его отвализают прямую борозду, взрыхляющую и обновляющую старую закостенелую землю, прямую дорогу к новому труду, к новой жизни. На пятки плугарям наступали боронильщики. Три бороны, в два следа, ходили по полю. Замыкали конвейер рядовые сеялки, так похожие издали на детские коляски, в которые запрягли почему-то лошадей. Они быстро и точно закладывали в землю размоченные семена „гузы“ [1].

У писателя захлестнуло дух при виде этого напряженного, но четкого, организованного труда.

На участке они увидели подходящего агронома и закричали, махая кому-то тельпеками:

— Гоу, векиль!.. Даррык-Берды, гоу-у!..

Но агровекиль [2] Даррык-Берды-Ниязев, уже бежал навстречу Сайдаметову.

— Сайдаметов, аман-бол!.. Снимай черепаху!.. К шайтану!.. кричал он на бегу.

Ветер трепал длинную козлиную бороду векиля, засовывал ее ему в рот. А он отплевывался, смеясь, и кричал громко, гордо кричал:

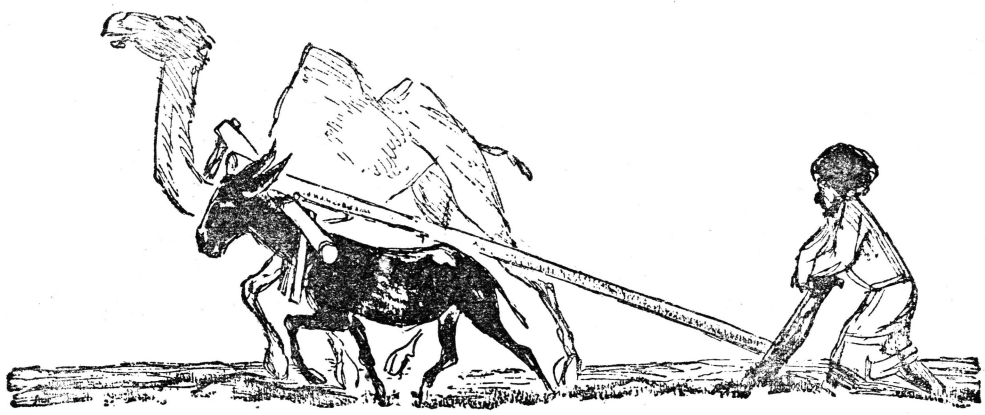
— Снимай черепаху!.. Прорыв карачун!.. Вези черепаху в бригаду Бяшим-Нурали...

---

[1] Местная порода хлопка.

[2] Агростароста, бригадир.

Джарчи выкликал имена всех, занесенных на доску позора и доску чести...



Векиль остановился и заговорил быстро по-туркменски, взволнованно оглаживая бороду, приседая, колотя ладонями по коленям. Обычная туркменская сдержанность и медлительность исчезли. Их смыло какое-то сильное, радостное чувство.

— О чем он говорит? — дотронулся писатель до плеча Сайдаметова. Агроном раздраженно оглянулся, посмотрел недовольно на писателя и вдруг засмеялся.

— Даррык-Берды рассказывает, что его бригада по окончании сева решила выделить несколько пар рабочего скота, инвентарь и работников. Они отправятся в бригаду Бяшим-Нурали с черепахой и плакатом, на котором напишут: „Мы успешно закончили сев, а вы отстали".

— Хороший старикан, — уронил про себя Вакулин. И сказал уже для писателя.—В разгар посевной пришлось ему лечь в больницу. Но когда Берды узнал, что его бригада отстает в севе и заработала черепаху, он сбежал из больницы в поле...

3. АВАНПОСТ СОЦИАЛИЗМА

Агроном рассказывал писателю об организации труда в колхозе.

— Колхозцентр Туркмении по окончании сева предполагает провести смотр организации труда в колхозах. Нас это не слишком пугает. Резолюция VI съезда советов СССР— „Колхозные доходы должны распределяться по принципу: кто больше и лучше работает, тот больше получает, кто не работает, тот ничего не получает", — проведена нами в жизнь.

„В основных сельскохозяйственных работах—пахоте, севе, прополке, окучке, поливах, уборке, мы перешли на сдельщину... Оценка труда в условно-денежных единицах создала у некоторых колхозников впечатление, что они не пайщики, не хозяева колхоза, а только лишь работники в нем. Урожай, мол, колхоз возьмет себе, каков бы он ни был, а с нами расплатится по ставкам. Чего же рады стараться?

„Прихожу я раз на Аму-дарьинскую пристань и вижу: наши колхозники грузят каюки. Оказывается, они удрали с поля, чтобы подработать в качестве хаммалов. Ведь айлык-то (жалованье) все равно плывет в их карманы, работай или не работай. И это во время сева! С введением сдельщины прогулы, поднявшиеся по нашему колхозу до 28%, упали до двух. А как работают при сдельщине, вы видели сами, хотя бы в бригаде Берды-Ниязова. Введение сдельщины— важнейший фронт классовой борьбы. От сдельщины зависит успех большевистского сева. Это понял наш враг. У нашего соседа, колхоза имени Буденного, Денаусского района, со сдельщиной долго не налаживалось. На собраниях, где обсуждался вопрос о переходе на сдельщину, против нее горячо выступал один бригадир, фамилию его не помню, чистой воды подкулачник. Он уже провалил было сдельщину, но другой бригадир, батрак-активист и партиец Нимаджан Ходжаев, все же добился введения сдельщины. И что же? На следующий день на пашне нашли зверски изуродованный труп Ходжаева. Кто убийцы, понятно. Их тотчас же арестовали.

Некоторое время ехали молча. Кони фыркали от сырости и голодно хрустели удилами.

— Но сдельщина у вас бригадная, а не индивидуальная. Почему не перейти вам на индивидуальную?—спросил писатель.

— А учет?—шлепнул ладонью по седельной луке Сайдаметов.—Учет—это наша мука и проклятие! В Туркмении есть три учетных системы, которые носят названия тех районов, в которых они возникли и испробованы. Денаусская система—табель, фарабская—наряд-табель и саятская — марки. От денаусской и фарабской систем вскоре же пришлось отказаться. Они уперлись в поголовную неграмотность населения. Дехкане приходили

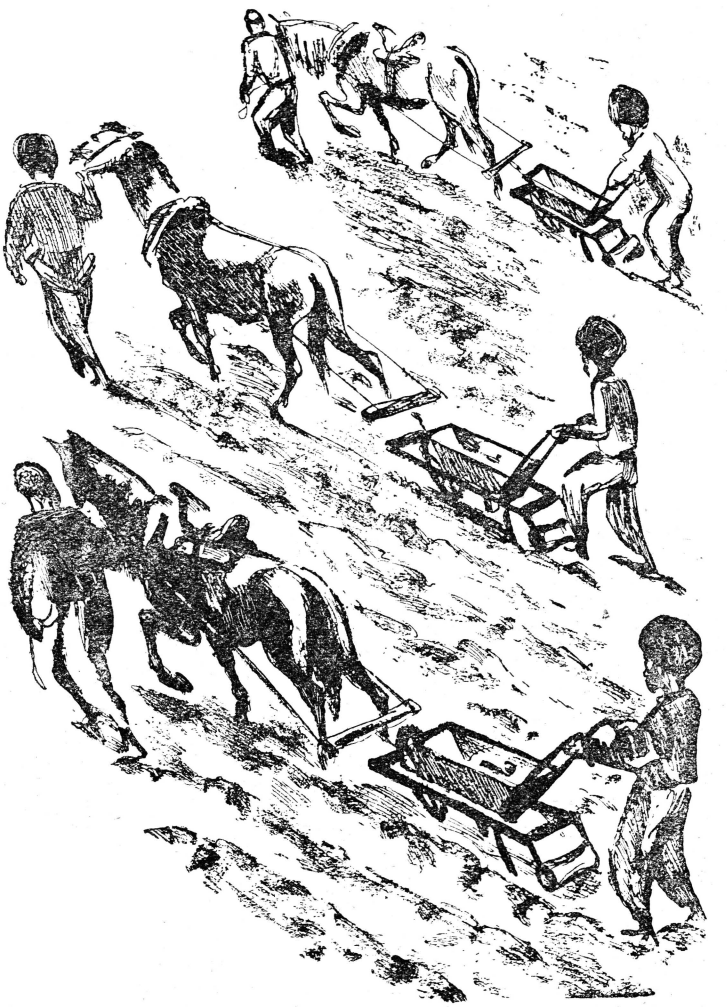
толпами с жалобами, что их обсчитали, что они работали, а их не записали. Путем свидетельских опросов приходилось устанавливать, что такой-то колхозник работал столько-то и там-то. Было, конечно, много недовольных. Где же выход? Может быть в марочной системе? Посмотрим... При этой системе дехканам выдают жетоны четырех образцов: на легкий труд, средний, тяжелый и на работы, требующие специального опыта, то есть на квалифицированный труд. Эту систему дехкане легко себе уяснили. Они легко могли учесть сами, сколько каждый из них заработал в неделю, месяц и так далее. У них появилось желание работать больше. Кроме того марочная система, как вы сами понимаете, крайне проста. Она не требует записей. Марки раздаются агротехникам, те распределяют их между бригадирами, последние выдают марки колхозникам. Есть у этой системы, конечно, и неудобства, о которых возможно вы уже догадываетесь. Во-первых, марки могут теряться. Во-вторых, могут быть и злоупотребления. Ну как не порадеть родному человечку?.. И бригадир, поставив родных человечков на легкий труд, выдаст им марки среднего или даже тяжелого труда. Но и это можно все-таки устранить путем летучих ревизий и партийного контроля внутри бригад. Главная беда в другом. Как вы будете отмечать поздний выход на работу? Или уход с работы прежде времени? Или как вы оцените качество работы? Учет выполнения качественных показателей крайне важен. А как вы отметите порчу рабочего скота, поломку сельско-хозяйственного инвентаря нерадивым колхозником? На все эти вопросы пока еще не дали ответа саятские товарищи, изобретатели и защитники марочной системы.

— Что ж,—спросил писатель,—значит нет выхода из тупика? Безвыходное положение?

— Давайте рискнем. До дому еще далеко, а жрать хочется до смерти. Вакулин с вашим приятелем наверное уже плов лопает.

Изголодавшиеся кони охотно пошли крупной рысью. Так потемнело, что писатель не мог разглядеть лица Сайдаметова, видел лишь его белую рубаху, от рыси прыгавшую в темноте, и слышал его голос.

— Выход? Ищется. И найдется! Я уверен. Кстати, мне кажется, большое будущее за системой учета, которая будет носить название нашего района, даже нашего колхоза, и которую я определил бы как систему трудовой карточки.



На колхозном поле работала бригада плугарей.

Кони внезапно перешли на шаг, поставив торчком уши. Затем агрономов жеребец свернул с дороги вправо, на невидимую тропку. Писателев меринок пошел доверчиво за ним, и писатель увидел котел, но котел с двухэтажный дом, наполненный плавью. Плавь бросала ввысь, в небо огненные отсветы и густо дымила, заслоняя звезды.

— Курганча,—сказал Сайдаметов.—Завернем на секундочку. Здесь живет агротехник шестого участка. Поговорить надо.

Тогда только писатель понял, что перед ними курганча. Но это не была та курганча, в которую они заезжали днем. Это была какая-то другая, дальняя, может быть самая дальняя из всех курганчей колхоза, закинутая на границу песков.

— Тихо,—сказал агроном, кладя руку на гриву писателева коня.—Подкрадемся неслышно. Попугаем. Пусть думают, разведчики Шалтай-Батыря.

Писатель легко проникся авантюрным настроением, на всякий случай все же улыбаясь иронически. Но их быстро заметили. На угловой башне взметнулась тень человека, смотревшего вниз, и упал оттуда стереотипный окрик часового:

— Тохта! Ким дур?

— Узимин!—крикнул с подозрительной поспешностью Сайдаметов.—Мэн, агроном! Дунут еще из винтовки. Кто кого тогда попугает.

— А-а, полдаш Сайдаметов?—крикнул человек на башне, и тотчас же запели петли открывшихся ворот.

Внутри действительно горел большой костер, разливавший багровые струи света по всему круглому двору. Вокруг костра сидели люди, и это придавало внутренности курганчи облик комнаты. Но подымешь голову — и видишь черное небо и красные звезды.

Люди у костра ели плов, ели руками, ловко поддевая рис с огромного блюда тремя пальцами правой руки, сделав из них лопаточку. Мясо, лежащее сверху куском, отрывали по очереди небольшими порциями и клали кусок обратно на то же место. Ели с откровенной жадностью хорошо поработавших, проголодавшихся людей, но не торопясь и в молчании. Приехавших встретили тихим:

— Селям-алейкум.

Торжественной и строгой простотой было полно это древнее, как мир, пожелание мира. И писатель ответил так же тихо, так же слегка торжественно:

— Ва-алейкум-селям... И — чуть запнувшись, добавил — товарищи.

Тогда старик, сидевший во главе костра, поднялся и протянул писателю в седло круглую лепешку, наполненную, как блюдце, пловом. Единственный за костром европеец, худенький, носатый, желтолицый малярик встал, вытер ладони о брюки и подошел к Сайдаметову. Это и был участковый агротехник. Они негромко о чем-то заговорили... А писатель, держа лепешку в обеих руках, слизывая с нее горячий рис, разглядывал людей, сидевших вокруг костра. Их было пятеро, считая и старика, пятеро туркменских крестьян, длинноголовых, горбоносых эрсаринцев. В стороне сидела, поджав одну ногу и упершись подбородком в колено другой, старуха, ведавшая огромным, медным с прозеленью, чистокровно-тульским самоваром. В ноздри старухи было продето серебряное кольцо.

Сайдаметов и агротехник все еще разговаривали. Агротехник стоял спиной к костру, облокотившись о седло Сайдаметова.

— Скучно вам здесь в глуши?—спросил писатель.

Агротехник обернулся, и писатель увидел юношеское, почти мальчишечье лицо.

— Нет, почему же скучно? — ответил он.—Скучать-то некогда. Забываешь, когда день кончается, когда ночь начинается. Вот осенью и зимой действительно скучновато будет. Схлопотали бы вы нам на зиму граммофончик. И пластиночек с песнями. По русским песням я соскучился,—застенчиво улыбнулся он...

Напившись чала, верблюжьего молока, снова выбрались из курганчи в темноту ночи.

— Слышите?—сказал Сайдаметов.—Ворота на засов и будут спать в полглаза. Конечно, тоскливо им здесь. Когда агротехники с участков едут к нам в поселок, в правление колхоза, они говорят: „поеду в город". А в этом городе всего семь домов и населения девяносто человек.

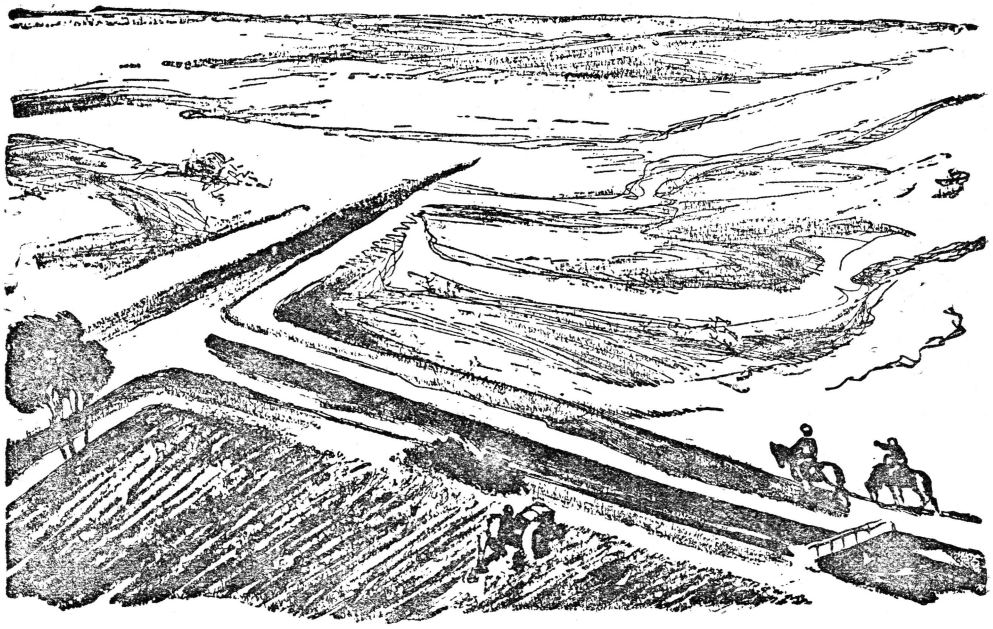
4. КОЛХОЗ НАСТУПАЕТ

Меринок, забравшись по пузо в желтую и мутную, как помои, воду арыка, никак не шел на берег. Он бил по воде ногами, обрызгивая свои потные, облепленные оводами бока, а заодно и брюки писателя.

Писатель хлестнул плетью по раскормленному заду, и мерин, блестя как шелковый на солнце мокрой шерстью, вскарабкался на высокий вал дамбы... Сразу же от дамбы, на полметра от брошенной земли, вскипала, плескалась песчаным прибоем пустыня. Ветер пересыпал густое желтое сорочинское пшено каракумского песку, и пыль, тонкая, юркая, перебежав дорогу, сползала в арык. Пустыня наступала...

— Кара-Кумы?—наивно спросил писатель.

— Они!—мотнул головой Сайдаметов.—Краешек, бахрома ковра ковров—Кара-Кумов. Полуторатысячами километров этого песчаного ковра отрезаны мы от так называемой культурной полосы. По берегу Аму-Дарьи тянется архипелаг оазисов, не шире трех-четырех верст. Наш колхоз—один из таких оазисов. Мы с трех сторон окружены песками. Но мы не в осаде. Нет! Мы сами наступаем. В текущем году мы получили из



Арык был прорыт колхозниками.

района задание на 2500 *га* хлопка. При обсуждении этого плана на общем собрании колхозники выдвинули встречный план в 2800 *га*. Для выполнения этого плана пришлось открыть новый канал протяжением в полтора километра. Вот этот, — Сайдаметов бросил вниз, в арык, окурок, и долго внимательно следил за его бегом. — 300 *га* отвоевали у пустыни! Дехкане назвали этот арык „Умит", надежда. При мелких раздробленных хозяйствах это было бы невозможно.

По гребню дамбы пылили рысью Вакулин и человек в ковбойской шляпе — уполномоченный райпосевкома.

— Минлигалий, подпирает вода-то! — еще издали закричал Вакулин. — Наживем беду!

— Тоже беспокоюсь, — ответил агроном. — На обратном пути завернем-ка к гидротехнику.

— Ничего, все будет ол-райт! — успокоил их уполномоченный. — Ну, показывайте вашего египтянина. Поехали, а?

5. ПЛУГ И ОМАЧ

Не забывайте, что наша горячая Туркмения расположена все же на северной окраине хлопкового пояса,—объяснял Сайдаметов. — Даже туркменское лето недостаточно длинно для полного созревания египетского хлопка. В марте и апреле у нас для нормального развития египтянина достаточно лишь солнечного света, а количество тепла можно дополнить искусственно.

Он обвел рукой тридцать парниковых рам, прикрытых проолифенной бязью.

— Здесь на горящем, вернее, преющем навозе египетский хлопок получает недостающие ему градусы тепла. В парниках мы его взращиваем, а по достижении определенных размеров высаживаем в почву. Этим раздвигаются естественные границы климата.

— Джураев опять агитирует, паскуда тирольская! — сказал зло смотревший куда-то в сторону Вакулин.

— Ну-ка, сходим туда!

В кругу отдыхавших (был обеденный перерыв) колхозников стоял сутулый и грузный человек. Его халат из суровой бязи был рван, запачкан лёсовой пылью и глиной, его серое дерюжное саллё было завязано на афганский манер хвостом назад. Говорил он, ритмически повышая и понижая голос, вздевая к небу руки, вращая глазами, — так читают суры корана. И после каждого вздевания к небу, опускаясь, рука его указывала на зелено-блестящий трактор с прицепленным к нему четырехкорпусным плугом, тоже отдыхавший близ дороги.

— В чем дело? — спросил писатель.

— Ерунда! — отмахнулся небрежно Сайдаметов.—Этот Джураев—неисправимый скептик и мрачнейший пессимист: он не верит в трактор, плуг, борону, признавая лишь верблюда, омач, маллу. Знаете, что такое омач?

— А кто такой этот Джураев? — насторожился уполномоченный. — Что он собой представляет?

— Я знаю, что вы подумали, — сказал зна-

чительно агроном. — Но вы ошиблись, поверьте мне. Он—ортам, середняк, и член нашего колхоза. Правда, у него темноватое даже для наших припустынных мест прошлое. Он—бывший басмач, раскаявшийся и помилованный. Но в колхозе Джураев давно и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Работяга и хлопотун! Старается всеми силами загладить прошлое. Одно плохо: он убежденный изувер, человек, болеющий скепсисом. Впрочем демагогия его не страшна, потому что дехканин уже поверил в машину, он уже любит ее с такой же несокрушимой силой, как первобытный человек любит свой очаг.

— Ол-райт! Совершенно верно!—выбежал вперед уполномоченный посевкомом и заговорил убежденно. — Нигде например трактористе не пользуется таким уважением и почетом, как в туркменских аулах. Рулевой считается здесь гордостью рода, как в былые времена лихой джигит.

Писатель слушал и одновременно следил за Вакулиным. Рабочий шел на Джураева, как на медведя, втянув голову в плечи и выставив вперед руки, согнутые в локтях. А дехканин, услышав шаги, оглянулся, тяжело повернув грузное, нескладное тело, и сам пошел навстречу европейцам. Он волочил правую ногу, при каждом шаге описывая ею маленькую кривую. Сабельный шрам через все лицо оттянул вниз левое веко, и синеватый белок был обнажен. Джураев первый протянул неумело руку европейцам. Ее пожатие было неуверенно и слабо, как пожатие ребенка или женщины. Уполномоченный ударил его шутливо по крутому сильному плечу и весело спросил:

— Говорят, иолдаш, ты тракторы ругаешь?

В глубине джураевских зрачков затлел насмешливый огонек.

— Тц!—причмокнул он языком и покачал отрицательно головой. — Иок! Ваш тиректор якши. Лошак джарко, человек джарко, тиректор не джарко. Человек на тиректор тоже не джарко — закрытый. Ваш тиректор якши. Наш бык яман.

— Обрати внимание, — сказал негромко Вакулин писателю,—наш бык и ваш трактор.

Уполномоченный, поняв издевку Джураева, прикрикнул грубовато:

— Ты хвостом-то не виляй, бандила несчастный! Чего ты мне горбатого лепишь! Лошади жарко, трактору не жарко. Говори прямо, почему трактор и плуг плохи? Ну?

Джураев оглянулся приглашающе на стоящих за его спиной дехкан и сказал твердо.

— Тиректор плохо, и пулуг плохо. Пулуг на читыре вершок берет. Плохой земля вверх кладет, хороший вниз. Какой пахта (хлопок) расти будет? Э? Омач савсэм другой дело. Он идет тихонько, савсэм как... джулик.

— Дурак! Вот дурак-то! — всплеснул с веселым ужасом руками уполномоченный. — Низкую вспашку хвалит! Да пойми ты, балда, — затыкал он пальцем в грудь Джураева,—что вам омач только по губам землю мажет! В этом-то и горе его. А для хлопка нужна глубокая вспашка, до пяти вершков, в виду особенностей его корневой системы, идущей далеко вглубь. Из-за его корней, корней, — развел широко руками с растопыренными пальцами уполномоченный, изображая хлопковые корни, — понимаешь, балда ты этакая?

Джураев чуть отступил, высморкался скептически наотмашь и, вытирая пальцы о широчайшие свои шаровары, сказал спокойно, но со злой затайкой:

— Этот год половина омач пахал, половина — пулуг. Посмотрим.

Это был откровенный вызов. Писатель оглянулся, ища Вакулина. Он сидел на лейке, далеко в стороне, далекий видимо и от спора, и щурился на солнце, думая о чем-то своем. На последние джураевские слова он поднял голову, но лишь повел бровью, чтобы согнать муху. А уполномоченный плюнул от ярости:

— Идиот, ол-райт! Слова на тебя тратить жаль.

У вегетационного домика зазвонил на работу колокол. Колхозники пошли торопливо к парникам, на ходу возбужденно разговаривая. Конечно, они обсуждали результат спора Джураева с начальником из района. Европейцы тоже пошли к лошадям. Джураев любезно поддержал стремя писателя, похлопал оценивающе по сытому крупу мерина и развязно попросил:

— Дай папрус, гражданин.

Писатель протянул ему папиросу. Они закурили от одной спички.

Пустив ноздрями дым, Джураев сказал пренебрежительно:

— Тиректор яман, гражданин. Яман, яман.. Мы сначала думал тулк ява какой будет оказался чистай дермо! — И улыбнувшись невинно, прикрыл веком выдававший его здоровый глаз.

— Трубку мира раскуриваете? — спросил кто-то резко сзади.

Писатель быстро оглянулся. Рядом, тоже уже в седле, стоял Вакулин. На него падала рваная тень дерева, и нельзя было понять выражения его лица. Но, разглядев мрачную складку туго сжатых вакулинских губ, писатель тронул поспешно коня.

Скептик Джураев проводил их низким поклоном, сложив на животе в позе покорности руки со множеством грубых цыганских колец на пальцах.

6. ПОТЕРЯННЫЙ БАЙ

Долго ехали молча. Шуршала о стремена буйная косматая трава, скрипели седла.

— Вот идиот, прямо премированный! — сказал неожиданно, с сердцем уполномоченный.

— Идиот? — дернув повод, остановил кобылу Вакулин и матерно выругался. — Нет,

мы идиоты, — снова пустил он лошадь, — бездарные идиоты! А Джураев не дурак. Дураком прикидывается только. Знаю я таких драповых супчиков! Ходят из смирения головы вниз, на носки собственных сапог смотрят. На всех собраниях по всякому поводу громче всех „ура“ кричат, а про себя караул визжат! Погодите, эта тюремная затычка еще наделает нам делов. Нет в мире зверя дичее буржуя, защищающего свое добро, так и знайте!

— Ну и что же? — спросил сдержанно Сайдаметов, глядя на Вакулина внимательно и дружелюбно.

— Ну и то же! — кусаче ответил рабочий. — Удесятерить внимание! Глаза! Кругом глаза! Бай тебе такой камуфлет подпустит, не скоро прочухаешься. Вот вам и что же!

— Дичь вы порете, товарищ Вакулин! — сказал наставительно уполномоченный райпосевкома. — Не перегибайте! Этот ваш Джураев — дурак и больше ничего. Безобидное насекомое, божья коровка...

— Жук навозный, а не божья коровка! Давить таких надо!

— Вот извольте, говорите с ним! — обиделся на такую непочтительность уполномоченный. — С таким отношением к дехканам недолго и развалить колхоз. Больше доверия к массам, товарищ! — поучал он. — Разве в вашем колхозе „баят“? Насколько мы, районные работники, знаем этого у вас не замечается.

— Балуй! — зычно гаркнул на игравшую кобылу Вакулин. — Потеряли, значит, бая? А вы знаете, чем пахнет эта потеря кулака? Не замечаете, говорите? Вы что же думаете, классовая борьба должна быть так же видна со всех сторон, как борьба... в цирке? Не „баят“? А почему же вы, товарищ, обвешались патронами и пистолетами, как елка шишками?

— Странно, — надвинул оскорбленно ковбойскую шляпу уполномоченный. — В песках бандиты. По мне раз уже стреляли...

И, пришпорив коня, поскакал рысью один, независимо подбоченясь.

— В песках? — закричал ему вслед Вакулин. — А в аулах по вас не стреляли? Хотя... в вас не выстрелят, не бойтесь, — обидно засмеялся он. И повернулся к Сайдаметову. — Заорете вы опять, что я самоуправствую, а то б с этим типом я по-свойски поступил. Из колхоза долой, — это уж обязательно.

— Хорошо, — согласливо кивнул Сайдаметов. — Выпрем мы Джураева из колхоза. Чего мы этим добьемся? Приобретет он ореол мученика, страдальца за дехканские интересы. Этого ты хочешь, Петя? Не хочешь ведь, правда? Скептика Джураева нужно другим бить! Нужно доказать, что тракторная вспашка полезнее. Тогда его агитация, вернее—трепотня его будет обезврежена раз навсегда!

Вакулин, к которому собственно и были обращены слова Сайдаметова, упорно и враждебно молчал. Тогда агроном заговорил снова.

— Надо сделать так, как делали мы в Закавказьи. Брали какое-нибудь крестьянское поле и половину его вспахивали омачом, другую половину — тракторным плугом. Это не только в районах, охваченных агрокомплексом...

— Возни много. Да и дорого! — заступился уполномоченный.

Джураев разговаривал с писателем...

— А кто же говорит, что дешево? Ясно, что дорого! Но зато агитационное значение какое!

Уполномоченный почесал кончик носа и сказал, чтоб отвязаться:

— Можно попробовать.

7. ПИКА

Уезжали на четырехтонном „даймлере" соседней МТС, шедшем в город за горючим. Приспокойном свете лиловой лампочки, освещавшей педали, листовали писателеву записную книжку, проверяя список поручений.

— ... Теперь идут просьбы к ленинградскому шефу-фабрике... Добиться посыла от каждого округа Туркмении пяти-шести дехкан на московские, ленинградскис и иваново-вознесенские фабрики,—читал записи писатель.—Это будет иметь большое политическое значение... Это все ваулинские просьбы. А вот ваши, товарищ Сайдаметов. Ватманской бумаги для стенновки... Цветного (четырех цветов) картона для карточек по учету сдельщины... Десять карманных часов для награды колхозников-ударников... Подписаться на второе полугодие на журнал „За хлопковую независимость"... Исхлопотать граммофон с пластинками русских песен агротехнику шестого участка... Кажется, все, а?

— Кажется все, — ответил Сайдаметов, стоявший на подножке. Из дома напротив вышел Вакулин, оставив дверь открытой. Он собирался пойти спать на вышку и шел к авто, таща за ухо подушку. В каждом движении его тела чувствовалась каменная усталость.

— Отчаливаем, что ли?—спросил нетерпеливо шофер.—Поздно будет.

Никто ему не ответил, и все задумались о своем. Остающиеся думали, что вот уезжают парни, хорошие, удобные товарищи, с которыми уже наверное никогда больше не встретятся. В предпрощальной тишине этой, нарушаемой лишь царапающим шумом карбюратора, родился вдали, быстро приближаясь, звонкий топот коня, мчащегося басмаческим угонным наметом. Все заинтересованно подняли головы. А художник, поместившийся на платформе грузовика, встал, вгляделся и сказал.

— Сюда кто-то шпарит. На полный ход.

Тотчас, будто вызванный его словами, в рыжей лунной пыли возник всадник, скакавший охлябью, без седла. Всадник почти лежал на коне, прижавшись щекой к конской шее. Полуразмотавшееся от скачки „салле" черным вымпелом тревоги хлестало по ветру. Из-под копыт коня сыпались сумасшедшие голубые искры. Всадник влетел в поселок и, скатившись с седла у раскрытой Вакулиным двери, пропал.

— Ишь как заморил животину, все жилы дрожат,— посмотрел Вакулин на коня, истерзанного скачкой.—Чортова привычка гнать сломя голову. Взгрею.

— Джураев!—крикнули затем все хором.

Перед автомобилем, в свете фар, стоял скептик Джураев, тяжело дышавший, заправлявший в сапог выбившуюся от скачки порточину. Он сказал.

— Су-текник меня тебе с письмом посылал. Читай скорей, пожаласта...

Вакулин выхватил у Джураева клок измятой бумаги. Обе руки, передававшая письмо и принявшая его, заметно дрожали. Вакулин начал читать. На лице его, под белым светом фар меловом, с резко прорубленными морщинами, тяжко возникло сомнение. Сайдаметов стал молча рядом с ним.

— Гидротехник пишет, — тряхнул письмом Вакулин,—что во время ночного полива прорвало левую дамбу арыка Умит. Уже смыто тридцать пять метров дамбы. Вода рвется к курганчам. Под угрозой затопления и „египтянин". А верхние распределители опустели. Горизонт магистрального канала упал на тридцать сантиметров. На[illegible]итай.

— Джураев,—тоном, которого еще ни разу не слышал писатель, сказал Вакулин,—беги к колоколу и колоти водяную тревогу. Понимаешь? Ну, вваливай! А ты, Минлигалий, шпарь на конный, запрягай драндулет и давай его сюда. Поскачем на дамбу. Делай, Минлигалька, шевелись!

— Хоп!.. Есть!..—крикнули Сайдаметов и Джураев. Агроном побежал, скептик пошел, прихрамывая.

— Что случилось?—высунулся из окна кабинки писатель.

— Наш новый канал „Надежду" прорвало. Вода на курганчи пошла. Возможно и „египтянин" смоет. Давленое дело...

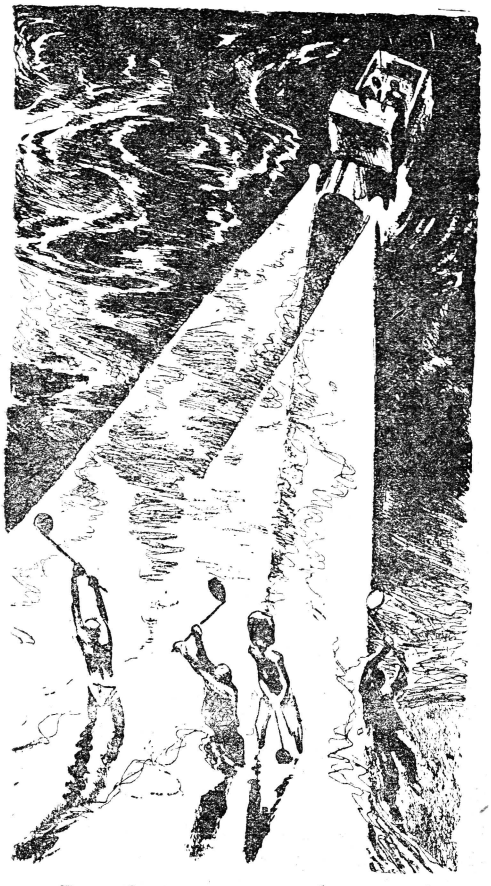
Он хотел еще что-то добавить, но его заглушили раздирающие вопли колокола. Джураев вваливал, не скупясь.

— Отчего прорвало?—закричал Вакулин.—Может быть пика нагрянула—паводок от таяния снега в горах. А может и не пика, Канал-то переполнен был, видел ты ведь. Там чуть... лопаткой или кетменем—и готово. Поеду на дамбу, узнаю. И ежели что, чуб вырву.

Последние слова Вакулин сказал совсем тихо, но в этой тишости была такая сила, что не заглушил их сплошной звон колокола, что шофер, ерзнув на кожаной подушке, крякнул как от крепкого мороза.

— Эге... Правильно, товарищ Вакулин, рви губу, если что, и больше никаких.

Вакулин замолчал. Теперь кричал один колокол, кричал глухо, как в вату, отчаянно умоляя о помощи. И, когда он немножко смолк, тишина долго еще держала в себе эхо металлических воплей. А затем пришли другие звуки: хлопали отбрасываемые наотмашь двери, грохотали сухо доски под торопливыми шагами, тревожно переливались голоса, звякало возбужденно железо кетменей и лопат, вперебой лаяли и выли собаки.



Лучи фар осветили работавших...

И уродливый, тревожный ком этих звуков, вырвавшись из поселка, катился под теплой тихой луной к соседней курганче, от нее — к следующей, еще и еще к следующей, по пути обрастая новыми звуками, так до самой последней колхозной курганчи на границе песков, катился туда, где взбесившаяся Аму-Дарья стремительной пикой врывалась в еще не окрепший, рыхлый арык.

И арык лопиул, как склерозный кровеносный сосуд.

„А может, правда, не пика,—думал писатель.—Может, правда, чуть... лопаткой. Ведь нет зверя злее, чем буржуй, защищающий свою собственность..."

Мимо открытой Вакулиным, ярко освещенной двери пробегали силуэты людей и тотчас исчезали. Пробегали и знакомые силуэты.

К автомобилю подкатил легкий „прандулет"на двух высоких и тонких колесах, запряженный агрономовым карабаиром. Сайдаметов стоял в нем, намотав вожжи на руки, побагровев от натуги. Вакулин бросил на землю подушку и прыгнул в коляску. Сайдаметов огрел вожжами присевшего в оглоблях от ярости жеребца. Жеребец бешено рванулся—и коляска пропала.

— Ай, больно хорош айгыр. Ветер догонит,—сказал кто-то рядом спокойно.

Писатель высунулся удивленно из окна кабины. У заднего колеса авто стоял скептик Джураев.

— Дай папрус, гражданин,—сказал нагловато Джураев. И вдруг засмеялся блудливо.— Видел, какой паника. Ба-альшой калга получился.

— Уйди, сволочь,—хотел крикнуть писатель, но грузовик, отбросив фонарями черную стену ночи, прыгнул вперед. Отлетел назад скептик Джураев, за ним огни поселка, и выругался со стоном упавший на пол платформы от неожиданного толчка художник.

— Чего ты?—крикнул писатель.

— Удирать надо, — ответил хмуро шофер.—Мобилизнут машину и путайся даром целую ночь на их канаве.

Придорожные деревья оторвались от коней и побежали навстречу автомобилю. Фары осыпали их инеем. Затем столб кивнул пройденной верстой, значит выбрались на тракт... Стрелки счетчика прыгали. Машина шла уже на второй скорости. Дорогу перебежал заяц и, ослепленный безжалостным светом, присел, приложив к спине уши. Но, почуяв смерть, вспрыгнул и побежал.

Лунно-рыжий с зеленым гривастым гребнем вскинулся из-под колес машины фонтан воды. Он взлетел неожиданно, как взрыв, и так же неожиданно исчез. Машина промахнула опасное место, снова выбравшись на сухое.

— Пика. Вот она...—сказал тихо писатель, вытирая ошеломленно холодные брызги с горячего лица—А может и не пика, а... Сворачивай! Слышишь? Поворачивай обратно!..— закричал он, стуча кулаком по рулевой баранке и, распахнув дверцу, словно решил выпрыгнуть на ходу в дребезжащую пропасть.

Но в окошечко, выходящее на платформу, проснулась рука, тряхнула шофера за ворот, и бас художника прокричал:

— Крути обратно! Дезертировать, сукин сын, вздумал!

— Что вы, черти, охалпели!—разозлился шофер. — Не видите разве, что я и без вас поворачиваю? Надо ж помочь ребятам...

Машина дала погибельный крен, пролетела сажень на одном колесе, заскрипела, содрогнулась и снова помчалась, но в обратную уже сторону. В тот миг, когда авто едва не опрокинулся от крена, лучи фаро выхватили из тьмы несколько, очень немного, человеческих фигур с кетменями и лопатами на фоне залитых водою участков. Люди стояли по икры в воде. Делая ловкие и дерзкие повороты, разбрасывая косые фонтаны, авто неслся прямо на них.

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

лиценциата медицины Андрея Везалия, уроженца города Брюсселя; друга его Матье Терма, Дюрана д'Эраже, несравненного в красноречии доктора Пьера де-Карроли, каторжника Тибо Брейля, доблестного рыцаря пресвятой девы и достойного капитана ла-Мина, великого философа в Париже и других городах в тысяча пятьсот тридцать шестом году

Сергей Хмельницкий Рис. *И. Ец*

Друзья съели жаркое и трижды опорожнили свои кружки. Внезапно хозяйка насторожилась и, постучав ключом по стойке, призвала всех гостей к молчанию.

В наступившей мгновенно тишине послышался заоконный лязг железа и звуки песни. Все, кроме двух священников, бросились к окну.

По склону горы шли каторжане. Один из них плелся в стороне с тяжелым кольцом на шее. Он шел, шатаясь, и пел.

— Тибо Брёйль!—крикнул конвойный и бесчеловечно выругался.—Вот ты у меня запоешь.

Он хлеснул его бичом по голой спине.

Но каторжанин шел, шатаясь, и пел:

Иду я, Воклюза,
Цепями звеня.
Родная Тулуза,
Ты слышишь меня?
Вязальщики в Ренне
И Лилля ткачи:
За острые время
Нам взяться мечи. [1]
Сестра моя Ницца,
Дай отдых станкам:
Пора обнажиться
Веселым клинкам.

Каторжник посмотрел вниз и, увидев людей в окне кабака:

— Эй, друзья!—крикнул он.—Пора обнажиться веселым клинкам!

Конвойный ударил его прикладом, и он свалился на землю.

— Пора обнажиться веселым клинкам! — крикнули в один голос каторжане.

Бичи конвойных свистнули и обожгли худые тела. Шатаясь, Тибо Брёйль поднялся на ноги и поплелся дальше, напевая:

Пора обнажиться
Веселым клинкам...

Все вернулись на свои места. Католик, который то и дело посматривал на двух друзей, достал из-за пазухи листок, пробежал его глазами и, указывая лютеранину на Матьё и Везалия, заметил полным голосом:

— Уж не тот ли это самый лиценциат медицины, бежавший из Парижа, которого разыскивают эти аркебузиры?

— Ваша благость,—сказал лютеранин,—с величайшим удовольствием я взглянул бы на казнь этих двух нечестивцев.

Но в это время слуги выкатили свежий боченок. Тут вырвалось на волю вино из деревянной своей тюрьмы. Как ветер оно закрутило сумы аркебузиров и подолы девок, и слова священников не нашли ничьих ушей, исключая беглецов.

Друзья потихоньку поднялись из-за стола, расплатились с толстой хозяйкой, вывели коней из стойла и погнали их вперед.

XXVII

Они скакали узким ущельем, пролегавшим между скалистых гор, которые соединяют Венту с Люберо́ном.

— Что-то поделывают наши друзья в этот час?—со вздохом проговорил Везалий.

— Могу побиться об заклад головой,— ответил Матьё,—что один из них успешно свергает Аристотеля, другой Аверро́эса, третий—Александра Вилльдьё, [1] а все вместе еще более успешно свергают бутылки добродетели.

Они проехали около трех льё, когда за поворотом ущелья послышался топот копыт и грубые голоса, кустарник раздвинулся, и два десятка всадников с криком бросились на путешественников. Везалий и Матьё мгновенно соскочили с коней и обнажили свои шпаги. Через пять минут одежды их превратились в перепачканные кровью лохмотья. Еще через пять минут их шпаги валялись на земле. Им скрутили руки за спину и повели с веревкой на шее, как ведут невольников или скот.

Вскоре их привели в небольшое селение, расположенное на вершине крутого холма. Все окна селения были ярко освещены, хотя было уже за вторыми петухами. Перед одной из хижин ярко пылал костер и стоял

---

[1] С XII в. Ницца была независимой. В 1388 году ею завладел граф Савойи, Амедей VII. В различные эпохи Ницца переходила в руки Франции и Испании. Однако на нее привыкли смотреть как на французский город.

[1] Автор известного филологического трактата „Доктринале пуэрорум" (конец XII в.—1240).

на страж часовой. Сюда ввели истекавших кровью пленников и представили их высокому одноглазому старику, сидевшему в глубоком раздумьи на большом столе, держа в одной руке чарку, а в другой череп.

— Капитан, — сказал один из разбойников.—Вот два молодчика из дворян на завтрак твоей милости. Мы взяли их у поворота. Защищаясь, они убили одного и тяжело ранили двоих из наших товарищей.

Капитан медленно вышел из состояния раздумья, в котором он находился, и посмотрел на двух друзей единственным своим глазом, который был к тому же крив.

—Кап-дью, гром и тысяча дьяволов!—сказал капитан.— Советую вам невпречь зрение и слух, так как перед вами единственный великий философ, какого когда-либо производил человеческий род. Подобно Сократу, молодые люди, философия моя носит по преимуществу практический характер. Она единственная здравомыслящая философия. Самым основательным аргументом в ее пользу является веревка. Однажды познакомившись с этим видом доказательства, самые ожесточенные противники моей философии проникаются к ней таким почтением, что больше не раскрывают рта. Этой великой философией так увлекаются епископы, аббаты, рыцари и богатеи от Дижона до Сен-Реми, что не могут уснуть по ночам. Может показаться, что между четырьмя видами людей, которых я назвал, существует различие, но я не разбираюсь в этих схоластических тонкостях и всех их вешаю. Когда я перевешаю их всех до одного, на земле наступит царство божие. Сегодня очередь за вами, молодые люди. Кап-дью и так далее,—вот и все.

Сказав это, капитан поставил на стол чарку и череп, слез со стола и озабоченно спросил одного из людей, его окружающих:

— Не становлюсь ли я туг на ухо, Марко́н? Что-то не слышу я топота копыт.

— Слух не изменяет вам, капитан,—ответил разбойник.

— Послать еще сорок человек на подмогу, — сказал капитан. — Если мой друг к этому времени успел отправиться в ад или рай, пускай они добудут его оттуда. Если я сам буду в гробу ко времени, когда его привезут, — пусть поднимут меня из гроба, чтобы я мог его приветствовать.

Капитан махнул рукой и вышел из хижины. Пленников, едва державшихся на ногах, вывели следом за ним и подвели к высокому дереву. Тут им развязали руки.

— Во имя крови наших братьев бедня-

— Очередь за вами, молодые люди,—сказал капитан...

ков,—произнес капитан—,которую вы, ваши отцы и ваши деды проливали, как воду... приказываю вас казнить.

На шеи Матьё и Везалия набросили две петли.

— Прощай, Андрэ!—проговорил Матьё.

— Прощай, верный друг!—сказал Везалий.

Они крепко обнялись.

— Уж не взыщите, приятели, — простодушно обратился к друзьям один из палачей,—если что́ будет не так: мне с моим другом ни разу не приходилось вешать.

— Ничего, дружище,—успокоил его Везалий.—Мне с моим другом тоже ни разу не приходилось быть повешенными.

Капитан махнул рукой, и палачи бросились затягивать веревки.

XXVIII

Вдруг за дверями раздался стук копыт и звуки песни:

Вязальщики в Ренне
И Лилля ткачи:
За острые время
Нам взяться мечи.

Сорок всадников остановили на полном скаку своих коней. — Кап-дью, гром и тысяча дьяволов! — сказал капитан ла-Мин. — Посмотри на часы, Маркон: это самый счастливый час моей жизни, товарищ!

— Самый счастливый, капитан, будет час нашей победы,—сказал Тибо Брёйль, сходя с коня и бросаясь в его объятия.

Отовсюду послышались крики, топот ног, хлопанье ставень и дверей.

— Тибо, Тибо вернулся!

Тибо обратился к девятнадцати галерным невольникам, которых привезли вместе с ним, и сказал:

— Нашего полку прибыло, капитан! А вы, малодушные, не говорил ли я вам: слово капитана ла-Мин — каменная скала.

— Кап-дью и так далее, — сказал достойный капитан, и по скуле его скатилась слеза.

— Посмотрите, что сделали с моим другом злые люди. Похоже на то, что он возвращается с берегов Орка, Стикса и Коцита. Кап-дью! Никто не скажет, что твои страдания останутся неотмщенными, товарищ.

Он топнул ногой и, обратясь к двум разбойникам, которые продолжали стоять в нерешительности с концами веревок в руках, сказал с гневом:

— Уведите их. Пусть с них сдерут кожу и сломают им кости. Надеюсь, что они найдут вкус в этом развлечении, которым их король и епископы тешат себя по нескольку раз на день.

При этих словах Тибо Брёйль, стоявший спиной к пленникам, повернул к ним лицо, и брови его сдвинулись.

— Остановитесь, капитан,—сказал он.— Лица этих людей кажутся мне знакомыми. Дайте мне время припомнить, когда именно и при каких обстоятельствах произошло это знакомство.

После продолжительного раздумья Тибо радостно улыбнулся и, бросившись к двум друзьям, потряс им руки.

— Велите освободить их, капитан,—сказал Тибо.—Эти добрые господа облегчили участь бедного каторжника добрым словом, деньгами и заступничеством перед солдатами короля.

— Кап-дью и так далее,—сказал капитан ла-Мин.—Почему же господа мои новые знакомые сами не сказали мне об этом?

Они ничего не сказали и на этот раз, так как, оказавшись без великодушной поддержки петли, от потери крови и волнения без памяти свалились на землю.

XXIX

Несколько глотков крепкого вина привели Матье и Везалия в чуство. Их тотчас же перенесли в хижину капитана и окружили заботливым уходом. Друзей стали откармливать, словно убойный скот.

Лежа у раскрытых окон и прислушиваясь ко всем разговорам, которые велись в хижине предводителя, они то и дело узнавали, как сотни крестьян и ремесленников присоединялись к капитану. С каждым днем росло его войско в численности, богатстве и вооружении.

На пятый день друзья почувствовали себя настолько бодрыми, что хотели продолжать путь. Однако капитан, который только и ждал их выздоровления, чтобы справить пир в честь своего друга, решительно воспротивился их отъезду.

Пир продолжался трое суток. Великий философ так угощал, что друзьям пришлось отлеживаться еще двое суток после того. Наконец на рассвете одиннадцатого дня они собрались в путь.

— Друзья мои,—сказал тогда капитан,— от имени всех этих добрых людей обращаюсь к вам с горячей просьбой.

Друзья заранее поклялись исполнить просьбу капитана.

— Кап-дью и так далее, — сказал старик. —Прошу вас, отправляясь в Марсель, свернуть немного с дороги и передать ремесленникам города Нима, что старина ла-Мин явится им на подмогу как раз тогда когда это будет нужно. Моих людей не трудно узнать по пучкам соломы и шерсти, которые красуются у них на шляпах. Пусть при нашем приближении часовой, в знак того, что в городе друзья, поднимет свой аркебуз прикладом кверху.

После того капитан распорядился, чтобы путешественникам выдали целую одежду из запаса в замен лохмотьев, которые их покрывали. На долю Матьё выпала одежда простого ремесленника, Везалию досталась монашеская ряса. Им возвратили их шпаги,

привели коней и снабдили вдоволь провизией и деньгами.

Дружески распрощавшись с Тибо Брёйлем и со старым капитаном, друзья пустились в путь.

Утром первого ноября они увидели в отдалении стены старинной крепости. Вскоре к ним присоединилась компания рейтаров, ехавших в том же направлении. Едва они и спутники их въехали в Ним через огромные двойные ворота, как их всех окружил отряд стрелков, вооруженных до зубов. Начальник крепости решительными шагами приблизился к Везалию и сказал:

— По всем признакам этот монах и есть доктор Карроли, которого мы так давно ждем. В этом ремесленнике нетрудно узнать другого доктора, каменщика Дешана. Их сопровождают рейтары, которые, как я догадываюсь, находятся под начальством палатинского рыцаря, Фридриха фон-дер-Борга. Связать их всех по рукам и ногам и отвезти в епископскую тюрьму.

XXX

В городе Ниме с трепетом ожидали прибытия королевского эмиссара и инквизитора, господина доктора Ори, посланного вырвать с корнем семя раздора, посеянного в этом городе еретиками. Больше всех трепетал сам высокопресвященный. [1] Незадолго до того кардинал де-Турнон обратился ко всем епископам, архиепископам и примасу галликанской церкви с письмом, в котором между прочим писал:

„Пастырь должен держать в послушании свою паству. Если же он не вызывает в овцах своих должного почтения и страха, то лучше всего негодного пастыря лишить сана и заточить в монастырь".

Господин доктор прибыл в Ним поутру первого ноября и, не слезая с коня, отправился в епископский дворец. Его сопровождали два его помощника: полный лиценциат с приятным лицом и учтивыми манерами и рыжий писарь, носивший за ухом знак своего ремесла. При взгляде лиценциата епископ почувствовал прилив бодрости, но зрелище сухого и желчного доктора тотчас же повергло его в отчаяние.

Едва удостоив несчастного епископа приветствием, доктор Ори приказал звонить в набат и, выйдя на балкон к толпе, угрюмо собиравшейся на площади перед дворцом, обратился к ней со следующей речью:

— Несчастливцы! Еретики! Изверги, потерявшие страх божий и продавшиеся дьяволу, т. е. Лютеру, этому висельнику! Лютеру, этой кровавой собаке, питающейся кровью христиан! Этому распутнику, не устающему каждый день поносить бога в мерзких пасквилях, которые они и друзья его именуют проповедями. Вот что такое

— Связать их всех по рукам, — сказал начальник крепости ...

ваш Лютер. Впрочем у нас есть испытанные средства для излечения ваших жалких душ от страшной болезни, именуемой лютеровой ересью. Это—ров, дыба, кол, колесо, испанский сапог, кобыла, козел, гвозди, огонь, вода, подвешивание, подкалывание, поджаривание и другие верные приемы. Именно так, властью, врученной мне богом и королем, я и намерен поступить с вами со всеми без всякого разбора. Можете, по выражению благочестивого поэта, оставить всякую надежду. Я и сам сознаю, что жестоко так поступать с паствой. Но разве вы паства?

[1]. Епископ.

Истинная паства есть стадо овец, которое позволяет пасти себя и стричь невозбранно. Вы же непокорны, злы, заносчивы, суетны, нерадивы к службам, паче же всего — алчны и преданы чревоугодию. Не хотите отдать львиную долю на процветание матери вашей, святой римской церкви, а вместо того угождаете низким потребностям своего живота. Воистину говорю вам: не внидете в царство небесное, пока не отдадите последнего гроша.

Королевский эмиссар окончил свою речь среди гробового молчания. Толпа стояла неподвижно. Вдруг кто-то крикнул:

— Инквизитор говорит, чтобы мы оставили всякую надежду. Чего же мы ждем еще?

XXXI

Тогда над разъяренной толпой мгновенно вырос какой-то человек. Он назвался каменщиком и его с криком понесли на руках.

Откуда-то явилось оружие. Камни посыпались в окна епископского дворца. Во мгновение ока стража была перебита, и толпа с ревом ворвалась во дворец, потрясая топорами и аркебузами. Королевский эмиссар и два его помощника чудом спаслись из крепости. Епископу отрубили руки и ноги, распороли живот и еще живого бросили в Вистр. Двух каноников поволокли в мастерскую плавильного цеха и бросили в чан с кипящим свинцом. Еще ужаснейшей участи подверглись благочестивые люди, о которых было известно, что они тайно служат в святом судилище. На них указывали пальцами и кричали:

— Вот этот показывал на нас.

Женщины, похожие на фурий или диких кошек, вырывали им глаза своими ногтями, кидали им в рот горячие угли и рвали их тела зубами.

— Это за моего брата!—кричали одни.

— Это за мужа! За сестру! За мать!

Потом толпа ринулась к монастырю кордельеров, вытащила аббата (он забился под кровать) и прибила его гвоздями к дверям монастыря. В этом злодеянии им содействовали многие монахи, которые, разорвав свои одежды, заявили, что переходят на сторону лютеран. Другим братьям и священникам набили рты грязью и нечистотами и поволокли по улице с пением:

Ты, Рим, и кто с тобой
Собак поганый рой.

Внезапно (как и все, что происходило в этот страшный день) на возвышении, посреди обезумевших и одержимых дьяволом людей, появился высокий господин в одежде доктора богословия. Он вдохновенно протянул руку и заговорил витиевато и напыщенно. Толпа, притихнув, собралась у его ног. Со всевозможными ужимками новоиспеченный пророк (он назвался Пьером ле-Карроли) стал проповедывать передь ними, что месса и поклонение святым есть грубое идолопоклонство и, несовместимы с достоинством человека; что его святейшество — такой же человек, как все другие; что крещение не спасет нашу душу, а спасает ее праведная жизнь, и тому подобные несуразности.

Впрочем речь его вскоре перешла в беседу. Простаки, двадцать лет возившие тачку, вдруг стали богословами. Побросав свои топоры, аркебузы, они стали с важным видом обсуждать различные тонкости веры и богослужения, толкуя различные выражения и ссылаясь на святое писание, как будто они были магистры.

Однако и это занятие им вскоре надоело. Снова схватились они за топоры и аркебузы и с песнями и шутками бросились к собору св. Кастора. По дороге к ним присоединялись певчие, младшая церковная братия и монахи из ближних монастырей.

Надев стихари, они пили в соборе из чаш и дискосов, плевали на дароносицы,

Толпа несла каменщика на руках к дворцу...

попирали ногами святые образа и совершали кощунства, одно ужаснее другого. Дьяконы, кривляясь, ели кровяные колбасы и сосиски в святом алтаре перед священником, который, растерявшись, продолжал служить мессу; играли на его глазах в карты и в кости и кидали в кадило куски старых стоптанных башмаков, от которых в храме поднималось зловоние.

Один из этих богохульников, надев митру и мантию, вышел к толпе и с напускным благочестием произнес символ веры,—не тот однако, которому обучают в детстве всякого христианина, а другой, сочиненный в осмеяние первого (собравшийся в церкви народ с хохотом повторял вслед за ним):

„Верую в откормленных кур, в дроздов и куропаток, во все вареное и жареное, а также в пиво,—когда же его нет, то даже в сидр, но лучше сухой, нежели сладкий; более же всего я верую в доброе вино; уповаю, что тот, кто верует в него, спасается".

Эту и ей подобные кощунственные речи толпа встречала смехом и криками одобрения. В собор вкатили бочку вина и опорожнили ее в этом святом месте. Младшие братья,—те, что трудятся на кухне, поварята, садовники, огородники,—заняли место прелатов. Они облачились в священнические одежды, предварительно разорвав их в клочья и надев их задом наперед. В руках они держали вверх ногами книги, делая вид, что читают их через очки, из которых они вынули стекла и вставили туда апельсинные корки, что придало им чудовищный и устрашающий вид, особенно после того как, раздув свои кадила (которыми они размахивали в насмешку над благочестивым обрядом), они вымазали себе и своим собратьям лица сажей и посыпали головы пеплом. Они не пели ни гимнов, ни псалмов, но издавали крики, подобные визгу поросят,- так что эти низменные животные совершили бы с неменьшим успехом, чем они, службу в этот день.

После того вся эта пьяная и нечестивая толпа высыпала на улицу, распевая во всю глотку:

Ты, Рим, и кто с тобой—
Собак поганый рой...

— Таково положение дел в Ниме, ваше святейшество,—заключил кардинал.

Павел Третий глотнул разведенного вина.

— Я думаю,—сказал он после длительного размышления,- что я не был бы встречен там с подобающими почестями. Как вы полагаете, кардинал?

XXXII

Шестого ноября вооруженная толпа окружила епископскую тюрьму. Часовые, оказавшие ей сопротивление, были разорваны в клочья. Сломав ворота, толпа ворвалась в замок. Перепуган-

ная стража побросала оружие. Тюремщиков, не успевших спастись, связали и бросили в Вистр. Перед узниками: иконокластами, [1] вальденцами [2], лютеранами, анабаптистами— открылись двери свободы.

Бледные приведения медленно потянулись к дневному свету. Многих из них доминиканцы-инквизиторы лишили глаз, ушей, языка, рук или ног. Зрячих ослепило бледное осеннее солнце; еще не утративших слух оглушили крики и шум. Здесь были узники, проведшие полвека в подземелье. Они не понимали, чего еще от них хотят. Их целовали, носили на руках, пели перед ними гимны, псалмы. Дети узнавали отцов, сестры братьев. Какое то безумие овладело всеми. Убийцы, только что проливавшие кровь, обнимали друг друга и плакали. Другие, стоя на коленях, молились богу.

Потом узников подняли на руки и с пением и молитвами понесли к ратуше. Среди освобожденных были Везалий и Матье.

Знамя Нима, знамя вольности, реяло над ратушей. В ней заседали купцы и представители ремесленных общин. Из дверей ратуши то и дело выбегали с озабоченным видом люди в одеждах горожан и обращались к другим людям, гревшимся и игравшим в кости у костров:

— Господин пекарь Годемар! Господин эшевен [3] предлагает вам...

— Господин колбасник, прошу вас немедленно...

В городе царило необыкновенное оживление. По улицам пробегали ремесленники в шишаках и панцырях. На крепостном валу перекликались часовые. Повсюду горели костры. Старинные стены вооружали новыми орудиями и укрепляли высокими бульверками по углам.

Вырвавшись из бесчисленных объятий и скромно избегнув поклонений, Везалий и Матье вознамерились приступить к делу, за которым они сюда явились. С этой целью он обратились к вооруженному до зубов горожанину, стоявшему в грозной неподвижности на часах у одной из дверей.

— Дружище,—сказал Матьё,—научи нас, прошу тебя, как нам найти вашего начальника, к. которому у нас есть важное дело.

Часовой окинул говорившего насмешливым взглядом и покровительственно сказал:

— Сразу видно, что ты приезжий и не слыхал проповедей наших докторов. Надо тебе знать, брат мой, что все мы рождаемся равными перед господом богом и потому не может быть среди нас ни подчиненных ни начальников.

Везалий и Матьё изумились ответу.

— Но ведь есть среди вас старшие и младшие?—сказал Матьё.

— Истинная правда,—сказал часовой.— Мы почитаем наших мудрых наставников, которые наставляют нас в жизни праведной и согласной со святым писанием.

— Друг мой,—сказал Везалий, начавший терять терпение.—Насколько я могу понять из воинственных приготовлений, свидетелем которых я являюсь,—ваши братья готовятся к осаде. Кто же, скажи нам, приказывает и распоряжается всем этим?

— Брат мой,—кротко ответил часовой.— Видно, что ты совсем новичок. Заботы о вооружении и укреплении города возложены на старшин наших цехов. Однако они не приказывают, как ты выражаешься, а только указывают нам, как более сведущие. Доверяя их опыту и исключительно по нашей доброй воле, мы следуем этим указаниям более преданно, чем если бы нам повелевал король.

— Я очень рад это слышать,—сказал Везалий,—и хочу тотчас же видеть одного из этих мудрых людей.

— В таком случае,—сказал часовой,— вам лучше всего обратиться к господину эшевену, которому два часа тому назад мы поручили высшую военную власть. Он находится как раз в этой комнате, которую я охраняю, являясь телохранителем этого достойного брата.

В это время дверь отворилась и в щель просунулась голова в железном шишаке.

— С кем это вы беседуете, господин пивовар?—спросил эшевен.

— Господин эшевен, — сказал часовой, — это два брата, у которых, по их словам, есть к твоей милости важное дело.

Эшевен, облеченный в рыцарские доспехи, любезно пригласил друзей войти и, выслушав их, с горячностью пожал им руки. Однако облако заботы не сходило с его лица.

— Напрасно медлит капитан,—проговорил он. — Король, который находится в Лионе, узнав о событиях в нашем городе, приказал коннетаблю [1] двинуть на нас все войска, выведенные им из Пикардии. Кроме того... (он понизил голос) я буду с вами откровенен, господа: с этими ремесленниками никогда нельзя быть уверенным в исходе дела. Они наслушались всяких бредней, которыми им вскружили головы ученые доктора,—все эти тонкости перемешались у них в головах со старинными цеховыми обычаями, и, право, слушая их речи, есть от чего схватиться за голову. Кроме того, эти общины, вместо того чтобы дружно сплотиться в виду такой страшной опасности, постоянно ссорятся

---

[1] Иконоборцы — религиозная секта, возникшая в VIII веке, учившая, что поклонение иконам—ересь.

[2] Религиозная секта, основанная в XII веке льонским купцом Пьером Вальдо, проповедывавшая всеобщее равенство и коммунизм в пределах христианской общины и обличавшая порочные нравы духовенства.

[3] Купеческий староста, имевший власть городского головы.

[1] Первый военачальник Франции, — по-нынешнему верховный главнокомандующий.

между собой, как делали и прежде. Каждая община требует себе особого почета и кичится перед другой общиной своей древностью и прочими преимуществами. Мы назначаем капитанов, — они отказываются повиноваться, так как они принадлежат к другому цеху. Дело доходит до ножей и, право, начинает казаться, что каждый цех видит в другом бо́льшего врага, чем римская церковь... Да и в самых цехах не все благополучно. И раньше подмастерья ссорились с мастерами, а теперь, наслушавшись докторов, они вбили себе в голову, что все они теперь такие же хозяева. Мы, купцы, люди рассудительные, предложили было распустить общины, — на нас вылили ушаты грязи; нам кричали, что мы для того стремимся их разъединить, чтобы легче разорить каждого порознь и дешевле купить их руки.

Эшевен прервал свою речь, чтобы спросить, где они остановились, и предложить им свое гостеприимство. Везалий вкратце рассказал эшевену их злоключения и, поблагодарив его, обещал воспользоваться, в случае надобности, его приглашением.

Выйдя из ратуши, они увидели у подножья Мон-Кавальé знакомую фигуру доктора Карроли, проповедывавшего перед толпой мастеровых и приходских учеников. Доктор тотчас же узнал друзей своего племянника. Он заметно удивился, но приветливо кивнул им головой.

— Через несколько минут, — сказал он, — я буду весь к вашим услугам, — или, вернее, вы к моим, ибо я жажду услышать новости касательно Парижа и моего племянника.

После того доктор вернулся к своей проповеди.

— Да не подумает никто, — продолжал он, — что свобода означает распущенность, что всякий волен делать и говорить, как взбредет ему на ум. Если бы свобода, говорит Цвингли,[1] заключалась в удовлетворении личных страстей и прихотей, она превратилась бы в худший вид тирании. Свобода, — говорит он, — есть устроение жизни в согласии с истиной. И потому да будет нашим девизом: никакой пощады еретикам!

— Однако Платон и Аристотель... — заметил какой-то бойкий ученик.

— Платон и Аристотель, — гневно перебил его доктор Карроли, — были язычники. Единственно хорошее, что сделали Платон и Аристотель, сводится к тому, что в их сочинениях можно найти много аргументов, которые с пользою могут быть направлены против еретиков. Тем не менее и они тоже, как и другие философы, томятся в аду. Старая баба больше знает об истинной вере, чем Платон. Для веры было бы полезно, если бы много книг, кажущихся на первый взгляд хорошими, были сожжены.

Не утерпев, Везалий сказал на это:

— Три мужественных поколения, почтенный доктор, взяли приступом крепость духа. Сами папы теперь, имея перед собой пример просвещенного Льва,[1] покровительствуют гуманистам. Опять, как в былые дни, Рим — столица опыта и рассуждения. Варвары, вы пришли вторично его разрушить.

— Мы пришли овладеть им, юноша, — ответил доктор Карроли, недружелюбно поглядев на лиценциата. — Хорошо вам, сидя на шее у простого народа, возделывать науки и искусства, в которых ему ничего не понять. Ему же нужна пинта вина, курица на ужин, простая истинная вера и твердая, но разумная власть.

— Не нужна ли истина всем? — сказал Везалий.

— Пусть у них вырастут зубы для этого блюда, — ответил доктор. Вы, ваши отцы и ваши деды всегда искали утолить только собственный разум. Подумали ли вы о школах для простого народа? Вы читаете по-латыни, по-гречески, по-арабски и по-халдейски, а эти бедные люди не умеют вывести своего имени на завещании.

Слыша такие речи, мастеровые, окружавшие доктора Карроли, поглядывали исподлобья на двух друзей и поглаживали свои топоры.

— Бежим! — шепнул Матье. — Скорее прочь отсюда, пока мы не восстановили против себя этих фанатиков и пока доктор не проведал о смерти Дюрана, которая приписывается твоей милости.

Воспользовавшись тем, что доктор продолжал свою проповедь, друзья незаметно скрылись в толпе и дали тягу.

Они достигли городских ворот, но мосты оказались поднятыми. Начальник стражи (начальник, вопреки красноречию пивовара!) окинул их угрюмым и подозрительным взглядом. Удаляясь, друзья заворачивали в переулки, чтобы вернее скрыться от возможного преследования. Наконец они сели на камень и предались горестным размышлениям.

— Несчастный народ! — сказал Везалий. — Море невежества, волнуемое всеми ветрами! Сегодня ветер подул с севера, завтра подует с юга. Несчастный народ! До времени ты — слепое стадо, чьи пастыри — шарлатаны и фанатики. Они тщательно оберегают тьму, в которую ты погружен. Они знают, что, прозрев, ты не потерпишь больше, чтобы тебя пасли и стригли. И они кричат о просвещении. Но они зовут тебя отвернуться от чистых светильников знания и указывают тебе на грубые лампады, зажженные руками суеверов и обманщиков.

Вдруг раздался громкий крик. Друзья,

---

[1] Ульрих Цвингли (1484—1531) — знаменитый швейцарский реформатор, близкий по воззрениям к Лютеру.

[1] Папа Лев X (1475—1521) покровительствовал художникам и ученым.

вздрогнув, повернули головы и увидели почтенного горожанина, приближавшегося к ним и махавшего им рукой, в которой блестел на солнце какой-то небольшой предмет.

Они поднялись ему навстречу.

— Один из вас, благородные господа, — сказал незнакомец, — уронил вот это.

С этими словами он протянул черный камень на золотой цепочке с надписью: „В новолуние за долиной между четырьмя горами...“

Везалий равнодушно взял камень и поблагодарил нашедшего.

Горожанин внимательно посмотрел на лиценциата и произнес:

— Мое имя Илéр Бонú, я — местный винодел. Сударь, вы окажете мне услугу, приняв ее от меня. Когда-то Пьемонтское братство, знак которого вы носите, возвратило мне жизнь, тогда как я считал ее потерянной. Я почитал бы для себя величайшим счастьем отплатить братству добром за добро.

Везалий схватил его руку.

— Я вас не знаю, — сказал он. — Вы не похожи на предателя. Вы можете спасти нам жизнь, выведя нас за стены этого города.

Винодел нахмурился.

— Клянусь,—произнес он после непродолжительного молчания, — что я сделаю то, о чем вы меня просите, хотя, видит бог, это нелегко сделать.

— После вашей клятвы, сударь,—сказал Везалий, — я хочу рассказать вам, как мы оказались здесь, как попал в мои руки этот камень и попросить вас истолковать нам темный смысл его многообещающей надписи.

Когда он окончил свой рассказ, Илéр Бонú сказал:

— Господа лиценциаты, я счастлив, что случай свел меня с вами, так как вижу, что окажусь полезнее вашим милостям, чем вы или я могли на это надеяться.

Он потряс камнем, который продолжал держать в руке, и воскликнул:

— В этом камне ваше спасение, молодые люди!

Друзья были поражены его словами.

— Первая клятва Пьемонтского братства, — сказал Бони, — помогать беглецам из Французского королевства и Савойского герцогства, гонимым римской церковью и докторами Сорбонны. Долина между четырьмя горами — иносказательное название Антреве́, последнего французского укрепления на реке Варе. Франция кончается на правом берегу реки. Левый берег покрыт дремучим лесом, который тянется на десять льё: у опушки его начинается королевство Пьемонтское. Этот-то кусок земли, покрытый лесом, от берега Вара, до границы Пьемонтского королевства, издавна зовется Ничьей землей. За этот кусок бесплодной земли, где только камни, ели да мхи, встарину государи пролили больше крови, чем за самые цветущие из своих провинций. В этом-то лесу поселились немногие из добрых братьев, поставив себе обязанностью переправлять беглецов из Франции и Савойи в привольные города Флорентийской и Венецианской республик. В темные ночи на свист путника выезжает из лесу телега и, обменявшись условленными словами со своим седоком, один из этих простых и добрых людей перевозит его через незнакомые и опасные места... И к этому месту я вас доставлю, господа!

Винодел вручил Везалию камень и пригласил друзей следовать за собой.

XXXIII

Нимское чудовище,—сказал король, пройдясь по кабинету, — сорвалось со своей золотой цепи. Мы посадим его на железную. Овце Тулузы давно пора остричь ее длинное руно.[1] Дикий Вистрский крокодил! Мы насыплем тебе столько свинца в подошвы, что ты разучишься ходить.

Словно из-под земли и с той и с другой стороны выросло по войску. Аршины лавочников обратились в бердыши, чернильницы — в пороховницы, требники—в щиты, скапулярии[2] — в нагрудные латы и капюшоны — в шлемы и шишаки.

Еще большее совершилось чудо в эти дни: завзятые жулики, банкроты, обиралы, промотавшиеся кутилы, отчаявшиеся бродяги, насильники, нечестные игроки — люди мешка и веревки — в одну ночь стали добрыми католиками. Не стало во всем Льонéзе ни одного шарлатана, вора, поджигателя, фальшивомонетчика, головореза, разбойника или беглеца с галер, — все они, благодаря этому святому превращению, стали католиками. Воистину, как выразился апостол: где изобиловал грех, там преизобилует благодать.

Восемнадцатого ноября благочестивое войско выступило в поход, получив благословение архиепископа. Впереди на белых конях скакали королевский эмиссар и инквизитор, доктор Ори, и два его помощника. Позади, выстроившись в колонны, ехали четыреста пятьдесят продажных девок, имевших назначение поддерживать бодрый дух в католиках.

Разграбив колбасные лавки в Арле и в Сен-Реми и разорив виноградники Сен-Жиль, Жонкьер и Леденон, аргулеты короля окружили крепость Ним.

Прошел месяц. В городе не было хлеба, в городе не было мяса, но город не сдавался. Доброму королю нехватало денег, чтобы платить наемникам боевое жалованье

---

[1] В своей речи король имеет в виду геральдические изображения на гербовых щитах городов: на щите Нима изображен крокодил, прикованный золотой цепью к пальмовому дереву, на щите Тулузы — овца.

[2] Нарамники (священническое облачение).

Архиепископ посоветовал королю обещать милость мятежным мастеровым.

— Тэт-дьё! — сказал король. — Я предпочитал бы видеть их повешенными.

— Я имею в виду, — сказал архиепископ, — сначала помиловать мастеровых, а потом повесить их.

— Но если я поклянусь помиловать их, а потом волю их повесить, то я нарушу данную мной клятву, — сказал добрый король.

— Ваше величество, — сказал архиепископ, — вы забываете, что дело касается еретиков. Ан фи́дес серва́нда эст адве́рзус эре́тикос?[1]

Другие духовные лица, находящиеся при дворе, стали убеждать короля, что клятве, данной еретикам, нельзя придавать значения, так как клятва, данная им при помазании, разрешает его от всякой другой.

Эти разумные доводы убедили короля, и он тотчас же отправил в осажденную крепость трех парламентеров.

В это время прискакал гонец и привез весть, что в Париже чума. Добрый король был очень напуган.

— У вашего величества нет оснований опасаться чумы, — заметил английский посланник. — Его величество окружен гораздо большей чумой, которая носит название его королевского двора.

XXXIV

Знамя Нима, знамя вольности, реет над ратушей. В ней заседают ткачи, оловянничники, пивовары и оружейные мастера. Они сидят за большим дубовым столом под портретами королей, пап и епископов нимской диоцезы[2]. Во главе стола сидит доктор Карроли.

В городе Ниме нет хлеба. В городе Ниме нет мяса. Нет воды в городе Ниме — ее отравили солдаты короля. Из-под стен Витри, из-под стен Седа́на войско коннетабля везет пушки и мортиры расстреливать мятежных мастеровых. Ткачи, оловянничники, пивовары и оружейные мастера сидят в ратуше за дубовым столом и говорят. Они говорят уже тридцать шесть часов.

Дети просят хлеба, стража бастионов ропщет на начальников, капитаны падают духом, общины ссорятся между собой, мещане города замышляют измену, а в ратуше говорят и говорят.

— Повесить королевских парламентеров, — говорят одни (их немного), — снять их полуживыми с виселицы, оторвать им головы и выставить их на виду у неприятеля, на крепостном валу.

— Отпустить с миром парламентеров, — говорят другие (их не больше, чем первых). — Пусть они сообщат королю, что мы отклоняем его предложенне.

— Открыть ворота, — говорят третьи, которых с каждым часом становится все больше, — и положиться на слово короля.

— Несчастные! — хриплым голосом кричит каменщик Гийом Дешан. — Видно бог у вас отнял разум. Или не знаете вы, что слову короля нельзя доверять больше, чем слову сарацина?

Ему отвечают, что в городе нет хлеба. Ему говорят о пушках, которые везут из Седана в Витри.

— Капитан ла-Мин обещал освободить нас, — говорит доктор Карроли. — На его слово я полагаюсь, как на каменную скалу.

Он не ел и не спал трое суток.

— Откройте ворота, — говорят те, которых больше всех. — Будем ли мы полагаться на слово разбойника больше, чем на слово короля?

— Не открывайте ворот, — говорит каменщик. — Это все равно, что открыть себе жилы.

Эшевен, которому поручена высшая военная власть в городе, поднимается из-за стола и предлагает открыть ворота.

— Не открывайте ворот! — кричит доктор Карроли, и глаза его слипаются. — Если вы откроете ворота, я не останусь умирать вместе с вами.

— Не открывайте ворот, друзья! — говорит каменщик. — Но если вы решите открыть ворота, я останусь и умру вместе с вами.

Так они спорят тридцать шесть часов подряд, а кони между тем несутся во весь опор по большой дороге в Ним. Скачут, везя на крупах оружие и припасы, бродяги и конокрады, скачут беглецы с галер, скачут в простреленных панцырях наемники, которым король не уплатил боевого жалованья, виноградари из Сен-Жиля, Жонкьера и Леденона, разоренные аргулетами короля, моряки из Марселя и Тулона и ткачи и колбасники из Арля и Сен-Реми.

Впереди скачут капитан ла-Мин и его товарищ Тибо Брёйль.

— Поспешим, капитан! — говорит Тибо

Капитан отвечает:

— Кап-дью, гром и тысяча дьяволов! Мы всегда поспеем.

А эшевен в городе Ниме уже отдал приказание открыть королю ворота, доктор Карроли лежит на полу с кляпом во рту, и два мясника борются в дверях с каменщиком.

— Умрите смертью предателей! — хрипит Гийом Дешан, обнажая кинжал, и падает, оглушенный ударом приклада, к ногам доктора Карроли.

А кони несутся во весь опор по большой дороге в Ним.

Эшевен выходит из ратуши. По его слову опускаются двойные подъемные мосты. Королевский эмиссар въезжает в город на белом коне и велит повесить эшевена. Испуская дух, он видит, как аргулеты рубят в куски собственных его детей.

А кони несутся во весь опор по большой

---

[1] Подлежит ли сдержанию клятва, данная еретикам?

[2] Епархии.

дороге в Ним. Уже вдали видны стены непокорного города. Тогда капитан ла-Мин велит остановить коней.

— Друзья,—говорит он,—выпейте в последний раз с капитаном разбойников: завтра вы будете пить с начальником крепости Нима.

И разбойники по его приказу достают ковши.

— Поспешим, капитан!—говорит Тибо Брёйль.—Долг прежде всего.

— Кап-дью, гром и тысяча дьяволов!—отвечает капитан.—Я устал проливать кровь, товарищ.

— Чует мое сердце,—говорит Тибо,—что в двух льё отсюда льется кровь наших братьев мастеровых. Кто боится пролить кровь сегодня, прольет вдвое больше ее.

А в Ниме звенят шпаги, гремят аркебузы, стучат топоры.

— Не обещал ли нам король свою милость?—говорит шпорный мастер, стоя у подножия виселицы.

— Истинная правда,—отвечает ему королевский эмиссар и инквизитор, доктор Ори.—Его величество клялся перед алтарем льонезского собора милостиво заменить всем бунтовщикам (кроме двух главных зачинщиков) смерть на медленном огне смертью на виселице. Слово короля будет свято исполнено.

Шпорный мастер с петлей на шее говорит:

— Нас обманули три „К"; Капитан, Капет [1] и доктор Карроли.

Под грохот аркебузов королевский эмиссар от имени короля дарует начальнику конницы звание жантильома и должность начальника крепости,

— Парди́! Парди́! [2]—говорит потихоньку наемник и крестится,—как не видеть перста божьего в этом святом деле, если из несчастного наемника и охотника за чужими кошельками, каким я был до сего часа, я вдруг стал жантильомом и начальником такой прекрасной крепости. Парди! Я испробовал на своем веку ремесла банщика, цирюльника, лакея, фальшивомонетчика, игрока на вио́ле, [3] грабителя и солдата (впрочем две последние профессии можно считать за одну). Но теперь я могу сказать с уверенностью, что выгоднее всего быть католиком. Виват! Да здравствует святая великая римская католическая церковь и господа доктора! Что касается меня, то это меня не касается. Лишь бы мне исправно платили взятки, как всякому важному сеньёру, Парди! Я буду епископом полей и огородов. Не будет такого пахаря, виноградаря или торговца, который пройдет через мои руки, не откупившись как следует. Я отниму коров и кур у моего соседа и присвою себе его земли,—и это будет справедливо. Верно, что если я грабил до сих пор, то это было несправедливо, так как я не был жантильомом. Но отныне я буду грабить еще больше и это будет справедливо, потому что теперь я жантильом. Справедливость создана для жантильомов, а не жантильомы для справедливости, парди!

Так говорит достойный начальник, а кони несутся во весь опор по большой дороге в Ним. Вот они у ворот крепости. Часовой на стене бастиона не отвечает условленным знаком. На крепостном валу стоят виселицы и на них качаются повешенные.

— Велите повернуть коней, капитан,—говорит Тибо Брёйль.—Мы опоздали.

XXXV

Эти два вечно памятных месяца Везалий и Матьё прожили в доме Бонѝ, который делился с ними последним. В холодную январскую ночь винодел вывел их потаенной тропой из Нима. У хижины лесника в трех льё от города их ждали кони.

В Тарасконе они запаслись всем необходимым. На третий день пути они увидели бич провансальской земли, грозную Дюранс; летом ее переходят в брод, но весной она затопляет худые поля. Они перевалили через горы Люберо́на и поехали по берегу А́ссы. В ясные дни с возвышенных плоскогорий Валенсо́ля они видели снежные вершины Пельву́, вздымающиеся, как острова, над морем туманов и туч. На склоне шестнадцатого дня перед ними заголубел Вар.

Винодел остановил своего коня.

— Моя миссия окончена,—сказал он.—Граница лежит в двух часах езды от этого места. Здесь река делает поворот и, чтобы выиграть расстояние, советую вам пересечь эту рощицу. Антрево́ останется по правую руку, а Ничья земля будет перед вами.

Он снял войлочную шляпу и пожелал друзьям удачи. Везалий и Матьё обняли его в последний раз и углубились в лес.

Они скакали больше часа. Внезапно за деревьями раздались звуки песни.

Матьё молча слез с коня и осмотрелся. Он подошел к молодому дереву и потрогал его рукой. Он поднял с земли пожелтевший лист и понюхал его... Везалий смотрел на него в молчании.

— Андрэ,—глухо проговорил Матьё.—Я был безумец, когда помышлял покинуть страну, где поют эти песни, прославляющие на зло всем монахам на свете доброе вино, жареных дроздов и нежные губы девушек.

Опустив голову, он вернулся к коню и сел в седло.

— Андрэ,—сказал он, глядя в сторону.—Мы простимся с тобой на Ничьей земле.

Они проехали триста шагов. Везалий сказал:

— Дюран... Теперь я теряю тебя.

Они проехали еще триста шагов.

— Я люблю тебя больше, чем себя самого,—сказал Матьё,—но еще больше люблю я нежную Францию.

---

[1] Король.

[2] Ругательство.

[3] Струнный музыкальный инструмент.

XXXVI

В дни, которые последовали за подавлением мятежа, во всех городах Французского королевства палачи выбивались из сил. К величайшей славе для веры, в застенках святого судилища усердствовали жом, шнур, дыба и испанский сапог. У писарей с воспаленными глазами валились из рук перья.

В один из этих дней корабль господина Фуггера из Аугсбурга, возвращавшийся с грузом золота из Нового света, потерпел крушение у островов Зеленого мыса. Весь экипаж корабля пошел ко дну, исключая только рулевого—бретонца. После продолжительных скитаний по морю в утлом челноке, в туманное декабрьское утро бретонец достиг французской земли. Проблуждав более шести месяцев в виду островов, необитаемых или населенных чернокожими дикарями, он вступил наконец на берег, где первым предметом, бросившимся ему в глаза, была виселица, на которой качался повешенный.

— Хвала господу!—воскликнул бретонец, бросаясь на колени.— По всем признакам я наконец на родине.

XXXVII

Они скакали около получаса. Наконец за деревьями снова заголубел Вар, Неподалеку перекликались часовые:

— Кемпе́р! Орлеа́н! Пуату́!

Матьё сказал:

— Теперь Антрево́ от нас по правую руку. Ничья земля за рекой.

Вдруг раздался громкий крик:

— Альт! [1]

И с четырех сторон блеснули аркебузы и мечи стрелков.

Прежде чем они успели опомниться, они были обезоружены и связаны по рукам и ногам. Потом их накрепко привязали к седлам, и повезли частым лесом по берегу Вара.

Везалий оглядел стрелков и насчитал двадцать человек. Он понатужился и убедился в отличном качестве веревок. Тогда он закрыл глаза и задумался.

— О чем ты думаешь, друг?—спросил Матьё.

— Кажется, мы попались, Матьё,—проговорил Везалий.

— Не унывай! Покажем этим разбойникам, какие шутки мы умеем шутить с костлявой старухой.

Вскоре их привели в охотничью стоянку коннетабля Монморанси. У низкой изгороди стрелки спешились и длинной веревкой привязали к дереву своих лошадей.

Коннетабль только что отобедал. Сопя и отирая пот со лба, он вышел из палатки. Слуги подвели ему коня. Монморанси, который в юности поклялся умереть в седле, сел верхом, как в кресла, держать суд. Пленникам развязали ноги и со связанными руками представили полководцу.

— Вот они, голубчики, из-за которых было столько шуму,—сказал начальник стрелков.— Мы поймали их у самой границы.

Почувствовав свои ноги свободными, Везалий приободрился.

— Через два часа,—сказал он,—я надеюсь пить сидр и Пьемонте. Я рад с вами познакомиться, монсеньёр, прежде чем покинуть навсегда ваши гостеприимные владения.

— Не пройдет и получаса,—сопя, ответил Монморанси,—как твою шею так крепко обоймет веревка, как еще не обнимала ее ни одна женщина.

Он махнул рукой, и люди его стали сооружать виселицу.

— Прежде чем вас повесят,—сказал коннетабль,—я велю вас раздеть нагишом. Я полюбуюсь, как у вас будут трястись поджилки.

— Вашу светлость ждет разочарование,—сухо ответил Везалий.—Наши колени не гнутся и не дрожат.

Матьё осмотрелся и увидел слева изгородь и справа дубовую перекладину и две петли.

— Монсеньёр,—сказал Матьё.—Я и мой друг—мы оба лиценциаты наук. Есть святой провансальский обычай, согласно которому всякому предоставляется право умереть по закону его сословия и корпорации.

— Да будет так!—сказал коннетабль.— Что же говорит закон?

— Монсеньёр,—ответил Матьё,—велите вашим стрелкам выстроиться в ряд и взять на прицел свои аркебузы. Пусть у них будут наготове дымящиеся фитили. Прикажите затем развязать мне и моему другу руки и разрешите нам сплясать перед вами пляску смерти. Когда во время пляски я и мой друг крикнем в один голос: Тиз тейдт!—что на фламандском языке означает: время!—пусть ваши стрелки поднесут к ка́морам зажженные фитили.

Коннетабль удивленно пожал плечами.

— Странные обычаи у вашей корпорации,—сопя, заметил он.—Но пусть будет по-вашему.

Он приказал своим стрелкам выстроиться в ряд и зажечь фитили аркебузов. Стрелки насыпали порох в каморы и, держа на готове длинные фитили, взяли аркебузы на прицел. Затем, по приказу коннетабля, Везалию и Матьё развязали руки.

— Спляшем!—сказал Матьё.

— Спляшем!—сказал Везалий.

— Ори как можно громче,—шепнул Матьё.

Везалий стал топать ногами и громко кричать:

— Брюссель! Родина моя! Тяжко умирать на чужбине.

— За низкой изгородью,—шептал Матьё,— стоят на привязи кони. У меня в голенищах ботфорт запрятана пара ножей. Спляшем!

[1] Стой.

Матьё учтиво поклонился коннетаблю и сказал:

— Мы начинаем, ваша светлость. Помните, стрелки должны выстрелить тотчас же после того, как мы крикнем: Тиз тейдт! Прикажите им быть настороже.

Манморанси отер пот со лба и отдал приказание. Везалий и Матьё разом ударили в ладоши. Они дружно крикнули и топнули ногой о провансальскую землю, присели и закружились, как тысяча чертей. Запрокинув головы, они стали рыть руками землю, как умирающие. Они плясали и пели:

Гаудеа́мус игиту́р
Ювена́с дум су́мус.

Крепко зажав в руках аркебузы, боясь промахнуться или пропустить условленный знак, с напряженными лицами следили за ними стрелки.

Внезапно Матьё остановился и крикнул:

— Тиз тейдт!

Стрелки поспешно поднесли к каморам фитили. В это время Везалий поднял руку и закричал:

— Остановитесь!

Стрелки отдернули фитили.

— В чем дело?—спросил коннетабль.

— Монсеньёр, — сказал Везалий. — Заметьте, что стрелки не подчиняются вашему приказанию. Им было повелено выстрелить после того, как крикнем мы оба. Вы же свидетель, что кричал только один из нас.

Коннетабль пожал плечами и сказал стрелкам:

— Делайте так, как говорят эти люди.

— Спляшем!—сказал Везалий.

Снова друзья хлопнули в ладоши, присели и закружились, как десять тысяч чертей. Они рыли руками землю и пели.

Стрелки коннетабля следили за ними, затаив дыхание. По лицам аркебузиров струился пот.

Вдруг Везалий остановился и крикнул:

— Тиз тейдт!

— Тиз тейдт!—повторил за ним Матьё.

Аркебузиры поспешно поднесли к каморам дымящиеся фитили.

— Остановитесь!—крикнул Матьё, поднимая руку. — Монсеньёр, так-то стрелки исполняют приказание вашей светлости? Им было приказано стрелять только тогда, когда мы крикнем в один голос. Между тем, как вы слышали, мы крикнули не разом, а один за другим.

Друзья хлопнули в ладоши, присели и закружились, как сто тысяч чертей.

Руки стрелков тряслись от долгого напряжения, и фитили их приходили к концу. По лицам аркебузиров градом струился пот. В глазах у них рябило, и утомленное зрение изменяло им. Они видели сто тысяч дьяволов, плясавших дикий танец вокруг адских огней.

— Гаудеамус игитур, — напевал Матьё, приседая и выхватывая один за другим ножи из-за голенища.

— Ювенэс дум сумус,—пел Везалий, ловя на лету нож, брошенный Матьё.

Так, кружась и приседая, они приблизились к изгороди. Тогда они разом выпрямились, и в руках их блеснули ножи.

— Тиз тейдт! прощайте, монсеньёр!—крикнули друзья в один голос и, высоко подпрыгнув, оказались в седлах по ту сторону изгороди.

В тот же миг ножи их перерезали у основания веревку, которой были привязаны лошади, и шпоры вонзились в бока лошадей.

— Пли!—заревел коннетабль, но выстрела не последовало, так как фитили, догорев, погасли.

— В погоню!—заревел он.

Стрелки бросились к стоянке лошадей, но она была пуста. В отдалении двадцать лошадей, связанных одной веревкой, переплывали реку. Спустя немного мгновений с другого берега Вара донеслись голоса:

— Тиз тейдт! Прощайте, ваша светлость.

XXXVIII

Они въехали на вершину утеса. Справа темнел сосновый лес. В пяти шагах каменная гряда круто обрывалась. Внизу глухо шумел Вар.

Кони остановились.

— Вот она, Ничья земля,— сказал Матьё.

За рекой французские часовые перекликались простуженными голосами.

— Арль! Пуату! Орлеан!

Везалий заложил пальцы в рот и свистнул. Тотчас же за соснами раздался ответный свист, послышался треск хвороста и из лесу выехала тележка, запряженная двумя лошадьми.

— Время не терпит!—произнес Везалий.

— Друзья близко!—ответил кучер.

Везалий сошел с коня и протянул руку.

— Прощай, Матьё!—сказал он.

— Прощай, Везалий! — сказал Матьё. — Я знаю: ты построишь анатомию.

Две слезы скатились по его щекам...

Вдруг за плечами их раздались голоса:

— Твои друзья приветствуют тебя, Везалий!—воскликнули трое, взбираясь на вершину.

— Прощай, Везалий!—сказал Варзаш.

— Прощай, Везалий!—повторил Жан Риби и протянул ему руку.

— Прощай, приятель,—сказал Рамюс.

— Прощайте, друзья,—сказал Везалий и пожал всем руки.

— Время не терпит,—произнес кучер.

Везалий влез в тележку. Все сняли шляпы.

— Прощай, Везалий! — крикнули бакалавры.

КОНЕЦ.

СВАСТИКА

Лион Фейхтвангер — *Рис. Л. Канторовича*

Лет этак сто назад немецкий археолог Шлиман занимался раскопками на месте, где когда-то стояла древняя Троя. Наряду с другими вещами им было найдено много предметов хозяйственной утвари.

Внимание ученого привлек украшавший многие из этих предметов знак—крест с загнутыми концами. Знак этот испокон века пользовался широким распространением на всем земном шаре: желтые считали его знаком, приносящим счастье, индусам он служил эмблемой плодородия и плодовитости.

Но Генриху Шлиману это не было известно. Он стал расспрашивать о значении этого странного креста французского археолога, некоего Эмилия Бурнуфа. Бурнуф, большой шутник и фантазер, уверил легкомысленного немца, что у древних арийцев этот крест служил одной из составных частей жезла, которым они помешивали свой священный огонь.

Доверчивый Шлиман поверил французу на слово. В своих сочинениях он много места уделил кресту с загнутыми концами. Он уверял, что это знак, существовавший только у арийцев. Германские патриоты положили эту теорию в основу своей теории о расах, избрали индийскую эмблему плодовитости своей политической эмблемой. Какой-то лейпцигский делец напечатал наклейные марки с изображением этого креста, окруженного изречением: „Кровь арийца— высшее благо".

Его затея имела успех. Школьники наклеивали эти марки в свои альбомы, мелкие торговцы запечатывали ими свои деловые письма. Патриотически настроенные торговцы галантерейными товарами выпустили в продажу булавки для галстуков с изображением этого креста. Патриотически настроенные ученые-этнологи связывали с ним свои теории. С ростом значения „Истинных германцев" росла и популярность креста с загнутыми концами.

Этот знак был изображен на огромных ярко-красных знаменах „Истинных германцев". Жители Баварской равнины рисовали этот крест на стенах своих домов, носили его в виде брошек, колец. Многие выжигали его у себя на коже.

Под этим знаком шли мюнхенцы на собрания Руперта Кутцнера.

Каждый понедельник в „Капуцинербрее" или в одном из других больших ресторанов вождь говорил со своим народом. Все увереннее говорилось о том, что скоро патриоты произведут выступление. Каждый понедельник ждали, что Кутцнер наконец назначит день этого выступления. Все более густые массы людей устремлялись на его собрания. Чиновники и служащие добивались более раннего закрытия контор, чтобы успеть занять место.

В одном из голубых вагонов трамвая, идущего в направлении ресторана „Капуцинербрей", стоял сжатый толпой других пассажиров владелец антикварного магазина Кайетан Лехнер. Он недавно вернулся из Голландии. Он ездил туда в последний раз поглядеть на проданный им богатому иностранцу старинный ларец. Сколько лет берег он этот ларец, знал, что цены ему нет, а вот соблазнился дорого стоящими иностранными деньгами и продал его. Голландец принял его приветливо, пригласил к обеду. Еда была хорошая и обильная, но Лехнер, смущенный непривычной сервировкой, слугами и обстановкой, ел без должного аппетита и потом ругательски ругал голландца, этого жаднюгу, скопидома, который заморил его голодом. Все же он сделал снимки ларца, хорошие снимки. Он часто глядел на них, любовался ими, и сердце его при этом преисполнялось нежностью. Но в то же время его охватывало глубокое негодование против правительства, которое сначала заставило его расстаться с драгоценным ларцем, а затем потерпело, чтобы какой-то галицийский еврей перехватил у него из-под самого носа тот дом, который он так давно для себя присматривал.

Ларцем этим, удивительным произведением искусства, Кайетан Лехнер дорожил больше, чем содержимым своего магазина. Он купил его давно, примерно через полгода после того, как встретился с Розой Гуебер. Роза была молчаливой, набожной девушкой, католичкой, с непоколебимо-твердыми взглядами на жизнь. Настоящая, крепкая женщина. Каждое произнесенное ею слово попадало в точку. Основать вместе с нею свой домашний очаг—вот цель, которую с первой же встречи поставил себе Кайетан Лехнер. Но Роза, решившая выйти замуж только за человека, завоевавшего себе хоть какое-нибудь положение, не соглашалась на брак с Лехнером. Его увлечение предметами искусства внушало ей недоверие. Она гуляла с ним и без сомнения любила его, ходила с ним на танцы и проводила с ним свободное время. Но уговорить ее выйти за него замуж, пока у него не будет настоящего положения, было невозможно.

Так обстояли дела к тому времени, когда Кайетан Лехнер случайно на одной из ярмарок, по которым он разъезжал в поисках предметов старины и искусства, среди всякого хлама вдруг увидел чудесный ларец. Сердце у Лехнера было тогда еще здоровое

и крепкое, но все же не легко было скрыть от продававшей ларец старьевщицы охвативший его восторг. Но вот, когда ларец оказался у него в комнате, стал его собственностью, когда пришел старик-еврей антиквар и предложил ему за него 800 марок,— вот тогда наконец у Розы открылись глаза, и она поняла, что он, Кайетан Лехнер, собою представляет. Она вышла за него замуж, вложила свои сбережения в его лавку на Унтерангере.

Часто с тех пор являлся у Кайетана Лехнера соблазн продать этот ларец. Это был хороший ларец, такие не часто попадаются. Благородная работа, чистая, не бьющая в глаза. Львиные лапы из бронзы, металлические инкрустации, сверкающие матовым блеском. Долгие годы стоял ларец в антикварной лавке Кайетана Лехнера среди мадонн, светильников, крестьянских украшений, картинных рам, разрисованных полотен, гигантских ботфорт и доспехов. Сколько раз предлагали за него деньги, большие деньги, но Лехнер отказывался от продажи.

А вот теперь наступили такие времена... Этот проклятый голландец не отставал. Лехнер, чтобы отвязаться, заломил огромную цену, спросил полмиллиона марок. Но и это не помогло: голландец согласился. Он, должно быть, рассчитал, что это составит всего лишь 5000 голландских гульденов. Лехнера зато эта цифра ошеломила. Он даже захлебнулся услышав слова, выражавшие согласие голландца, забормотал что-то нечленораздельное, но голландец тут же ясно и четко заявил ему, что либо он, Лехнер, доставит завтра к десяти часам утра ларь к нему в гостиницу, либо сделка заключена не будет.

Давно уже Лехнер присматривал на Баррерштрассе домик, выкрашенный в желтую краску. Ходил кругом да около. Но цена была недоступна для него. Теперь, продав ларец, он сможет купить его, стать домовладельцем.

Долго колебался старик. Всю ночь полуодетый простоял он перед своим ларцем и все же утром отвез его голландцу. Дом, о котором он мечтал, перехватил у него другой иностранец, галицийский еврей, и Кайетан Лехнер с горя купил тот дом, в котором находилась его лавка на Унтерангере. И нажил одни неприятности. Жильцы не оказывали никакого уважения. Опирались на закон о защите квартиронанимателей, введенный после революции. Один из них, некий Гаутсенедер, даже спустил с лестницы нового домовладельца, который явился к нему с какими-то представлениями.

Лехнер обратился к адвокату, собирался жаловаться в суд. Но адвокат объяснил ему, что предстоит длинный процесс, исход которого предугадать нельзя. В эти гнусные времена, когда крысы социализма подтачивали священные устои собственности, домовладельцы лишены всяких прав. В заключение адвокат посоветовал Лехнеру поскорее вступить в союз домовладельцев.

В союзе домовладельцев, в который Лехнер вступил, царило всеобщее недовольство. Содержание и ремонт стоили домовладельцам больше, чем приносила квартирная плата, повышение которой воспрещалось законом. Паршивые времена! Все делалось по-дурацки. Не стоило и деньги копить и сидеть на них как курица на яйцах. Все равно они уплывали из-под зада, как вода. Кайетан Лехнер был хитер: он не держал уже при себе денег. Он покупал у каких-то подпольных дельцов акции, считал, что играет на бирже. Но ларец был продан, а оставшиеся от покупки дома и вырученные в лавке деньги при расчете их на доллары с каждым днем падали в цене.

Видя это, Кайетан Лехнер решил доставить себе еще одно последнее удовольствие. Он написал голландцу, что хочет еще для себя лично сделать снимки с ларца и собирается приехать в Голландию. Голландец ответил вежливым приглашением, и Лехнер поспешил купить проездной билет. И вот теперь, по возвращении из Голландии, он снова окунулся в родные мюнхенские дела, едет на собрание послушать речь вождя Руперта Кутцнера. Он, Лехнер, твердо верил, что один лишь этот вождь способен отомстить за него всем инородцам, помочь ему снова подняться.

При выходе из трамвая кто-то грубо толкнул его, но извинился. Это был жилец Гаутсенедер, когда-то спустивший его с лестницы. Лехнер ненавидел этого человека. Дело, поднятое им против жильца в суде, все еще не закончилось. Теперь приходилось стоять рядом с ним, быть притиснутым друг к другу толпой. Обида все еще давала себя чувствовать, они косо поглядывали друг на друга, но в конце концов их одновременно потоком толпы внесло в зал, и они очутились за одним столом. Нельзя было, хотя бы и ворчливо, не обмениваться изредка впечатлениями.

До начала оставалось еще по меньшей мере полчаса, но зал был уже полон до отказа. Среди низко опустившихся волн табачного дыма плавали круглые, красные, как помидоры, головы с торчащими усами, серые глиняные кружки. Разносчики выкрикивали: „Запрещенный номер „Отечественного вестника“. Власти от времени до времени запрещали газеты патриотов, но затем не следили за выполнением своих постановлений.

Ждали терпеливо. Бранились по адресу правительства, упрекали его в несправедливости. Фрау Тереза Гаутсенедер, например, насобственном печальном опыте убедилась в никчемности нового республиканского правительства. Какой-то комми-вояжер продал ей на выплату пылесос „Апполло“. После этого другой комми-вояжер предложил ей другой пылесос, „Триумф“, тоже на выплату, но на более льготных условиях. Дело с первым коммивояжером он обещал уладить. Но он ничего не уладил, и теперь с нее требовали деньги за оба пылесоса.

Господин Гаутсенедер, с утра до ночи занятый на фабрике линолеума, заявил, что он и думать не думает отдавать свое четырехмесячное жалование на покрытие ее идиотских фантазий. Она мол вообще дура, и он намерен развестись с ней. Фрау Гаутсенедер с своей стороны выразила намерение броситься в реку Изер. Дело с пылесосом дошло до судебного процесса. Адвокаты говорили о вовлечении в невыгодную сделку и тому подобных вещах. Дело кончилось каким-то довольно неопределенным решением, не удовлетворившим ни одну из сторон, и тем, что как господин и госпожа Гаутсенедер, так и представители „Апполло" и „Триумфа", недовольные существующим строем, вступили в ряды „Истинных германцев".

Многие из присутствующих в ожидании появления вождя рассказывали о подобных же невзгодах. Все бранились по поводу того, что марка так дурацки изо дня в день падает, все валили ответственность за это на евреев и правительство, все возлагали свои надежды на спасение на Руперта Кутцнера.

Отставной правительственный инспектор Эрзингер любил чистоту и порядок. Он стремился и в это гнусное время сохранять в чистоте тело и душу, квартиру и платье. Он был человеком миролюбивым, склонным подчиняться начальству, даже если происхождение его власти и было несколько сомнительного свойства. Но когда жена его вместо привычной катушки гигиенической бумаги повесила в клозете нарезанную листками газету, его терпение лопнуло, и он перешел к Кутцнеру.

Полировщик Брукнер потерял на войне троих сыновей. Церковь для сраженного старика находила только одно утешение: священник говорил ему, что бог карает тех, кого любит. Полировщик Брукнер нашел лучшее утешение у Кутцнера.

Надворная советница Берадт, хотя и освободившаяся от ненавистной своей жилички Анны Гейдер благодаря смерти последней, все же продолжала терпеть всякие неприятности от последующих жильцов, которые шумели, принимали у себя сомнительных знакомых, готовили, хотя это и было строго запрещено, у себя в комнатах на электрических плитках. Неужели благородная вдова должна была терпеть такое издевательство? Она была принуждена терпеть. Виной этому был безбожный закон о защите прав съемщиков. Вождь, так надеялась она, наведет порядок.

Иосиф Фейхтингер, учитель гимназии, не пересел на той остановке, где полагалось, и проехал на трамвае лишнюю остановку, так как ему нужно было на Изарплатце зайти купить две тетрадки. За это его оштрафовали. Он, ничем никогда не опороченный, дожил до сорока двух лет; при этом правительстве человека подвергли наказанию за то, что он на Изарплатце купил две тетрадки. Он пошел к Кутцнеру.

Дым становился все гуще, острее запах пота, мучительнее жара, более смутными очертания глиняных кружек и ярче окраска помидорообразных голов. Антиквар Лехнер все чаще и порывистей вытаскивал свой пестрый платок.

Наконец, окруженный знаменами, под громкое ликование, в зал вступил Руперт Кутцнер. Он шел мерно под такт духовой музыки, высоко подняв голову с тщательно расчесанными на пробор волосами.

Он начал говорить. Он говорил о позорном Версальском мире, о дерзких адвокатских фокусах француза Пуанкарэ, о франкмасонах и талмуде. Все, что он говорил, не было новостью, но оно производило впечатление новизны благодаря сочности выражений и силе ораторских приемов. Голосом, полным почтительного восхищения, заговорил он затем об итальянском вожде Муссолини, о решимости, с которой он завладел городом Римом, а затем и всем Аппеннинским полуостровом.

— Да послужит,—воскликнул Кутцнер,— подобная энергия для баварцев примером!

И он разразился насмешками по адресу центрального общегерманского правительства, предсказывая в ближайшем будущем поход на Берлин, расписывал, как заблудший город без единого взмаха меча будет взят „Истинными германцами", как власти при одном только виде истинных сыновей народа сдадутся, со страху напачкав в штаны.

В зале, в то время как вождь говорил о походе на Берлин, царила гробовая тишина. Все ожидали, что он назначит определенный день. Кайетан Лехнер даже остановился, не высморкав до конца нос, лишь бы не мешать.

Однако вождь не выразился сухо и точно, как биржевой бюллетень с курсом доллара,— он облек свою мысль в поэтическую форму. „Раньше,—воскликнул он, указывая рукой на знамена с экзотической эмблемой,—раньше чем зазеленеют деревья, эти знамена оправдают свое существование".

Раньше чем зазеленеют деревья... Это было знамение, запечатлевшееся в сердцах. Люди слушали затаив дыхание, осчастливленные. Красивый звук голоса Кутцнера, его выразительная мимика увлекала их. Они забыли, что немногие имевшиеся у них процентные бумаги обесценены, что потеряна надежда на обеспеченную старость.

Как умел этот человек облечь в слова их затаенные мечты! Как руки его широко взмахивали в воздухе, с силой ударялись о кафедру, вытягивались вперед или же карикатурно подражали еврейской жестикуляции, какой ее изображали непритязательные в выборе средств юмористические журналы того времени!

Блаженствуя, следили они за каждым его движением, старались только бы не заглушить ни одного из его чарующих слов, с особой осторожностью опускали на стол глиняные кружки. Изредка оратор повышал голос, давая этим слушателям знак, что те-

перь пора аплодировать. Паузой, вызванной аплодисментами, он пользовался для того, чтобы стереть с лица пот, картинным жестом поднять пивную кружку, выпить ее до дна.

Вот он заговорил об этом жалком берлинском правительстве, которое народному возмущению не могло противопоставить ничего, кроме исключительных законов.

— Мы, „Истинные германцы,—воскликнул он,—если б мы стояли у власти, мы не нуждались бы в исключительных законах.

— Что же бы вы сделали?—перебил его чей-то благозвучный, низкий голос из толпы.

Руперт Кутцнер на мгновение умолк. Затем среди наступившей в зале напряженной тишины, он произнес тихо, задумчиво улыбаясь:

— Мы на законном основании повесили бы наших противников.

„Истинные" германцы, нужно отметить, составляли четыре процента всего населения. Тридцать четыре процента были нейтральны. Противники составляли шестьдесят два процента.

Все в зале теперь улыбались той же задумчивой улыбкой, которая скользила на устах вождя. Они мысленно видели своих противников болтающимися на виселицах или на деревьях с синими опухшими языками. Лехнер представлял себе висящим на дереве галицийского еврея, перехватившего у него дом; фрау Гаутсенедер—обоих коммивояжеров с пылесосами; оба коммивояжера—госпожу Гаутсенедер. Все с глубоким удовлетворением опорожнили свои кружки.

А Руперт Кутцнер продолжал извергать громы. Ни дым ни жара не действовали на него. Его легкие все выдерживали. Они были надежны, как хорошо выверенная машина,—это драгоценнейшее достояние партии, которое вождь тщательно берег.

При каждой из его речей всегда должен был присутствовать Конрад Штольцинг, актер бывшего придворного театра. Лет тридцать тому назад Штольцинг, воплощая роль Ромео в произведении драматурга Шекспира и Фердинанда Вальтера в произведении драматурга Шиллера, воодушевлял сердца мюнхенских жителей. Пятнадцать лет тому назад он перешел на характерные роли. А в последнее время посвятил себя обучению молодого поколения.

Счастливая звезда свела государственного деятеля Кутцнера и актера Штольцинга. Разве сто двадцать лет тому назад один знаменитый французский вождь и полководец [1] не работал совместно с знаменитым актером, по имени Тальма?

Конрад Штольцингер с глубокой самоотверженностью посвятил себя своему великому ученику. Учил его, как с неподвижным лицом, не смущаясь тысячью обращенных на тебя взглядов, проходить через переполненное людьми помещение, как следует торжественно шагать, ступая на пальцы ног, а не на пятку, посвящал его в тайну того, как владеть своим дыханием, как, раскатывая букву „р", делать произношение более ясным. Обучал его искусству соединять воедино красоту и достоинство. Старик молодел, любуясь способностями и безграничным усердием своего ученика.

Ежедневно, несмотря на тяжкую перегрузку, занимался Кутцнер со старым актером. Он уже мог говорить восемь часов сряду, не спотыкаясь, не нарушая основных законов ораторского искусства. Старик с выразительным лицом римлянина присутствовал при всех выступлениях вождя, контролировал правильность управления дыханием, произношение буквы „р", походку вождя, его манеру пить, говорить, оценивал, полны ли они красоты и достоинства.

Он не находил уже никаких дефектов. Ясно, несмотря на табачный дым, звучал голос Кутцнера. Все получалось удачно, естественно. Вопрос о том, как „Истинные германцы" поступят со своими противниками, был брошен стариком-актером. Он заблаговременно разучил с Кутцнером ответ, выразительную паузу, задумчивую улыбку. Так он, Конрад Штольцинг, двадцать пять лет тому назад улыбался в роли принца Гамлета, героя пьесы драматурга Шекспира. Улыбка получилась естественной, она произвела впечатление—точь в точь как двадцать пять лет назад.

Свою речь вождь повторил еще в трех больших залах других ресторанов. Трижды еще торжественно проходил он, окруженный группой своих ближайших приверженцев, сквозь помещение, наполненное пивными, винными парами и клубами табачного дыма. Трижды еще бросал старый актер свой вопрос и Кутцнер улыбался улыбкой Гамлета-Штольцинга. Трижды еще Кутцнер возвещал о походе на Берлин, который начнется „раньше, чем зазеленеют деревья".

„Раньше чем зазеленеют деревья",—сладостно звучало в ушах двенадцати тысяч мюнхенских жителей.

---

[1] Наполеон Бонапарт.

Перевод *В. С. Вальдман.*

Издатель — Издательство „Молодая гвардия". Отв. редактор А. Поневежский.
Сдано в производство 29/VII—31 г. Подписано к печати 2/X—31 г. Техред. Бомаш.
Ленинградский Облиздат № 21388. П—50. Огиз № 1279 л. Тираж 50.250—4 л. Заказ № 1118.
10-я типография ОГИЗ'а имени Евгении Соколовой, Ленинград, проспект Красных Командиров, 29.

ЖУРНАЛ
„ЮНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“
УВЕЛИЧИВАЕТ СВОЙ ТИРАЖ

Решение Ленинградского обкома ВЛКСМ — довести тираж до 35 000.

В настоящее время журнал имеет 20 000. Задачи всех комсомольских организаций — охватить журналом вновь вступивших в Комсомол.

Огромные достижения Комсомола в росте должны обеспечить выполнение контрольного задания Ленингр. обкома Комсомола.

Каждый комсомолец, каждый молодой рабочий

должен стать подписчиком литературно-художественного журнала ленинградского комсомола „ЮНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“.

„ЮНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“ в живой и увлекательной форме рассказывает о жизни и борьбе комсомольских организаций.

„ЮНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“ знакомит читателей с творчеством советских и иностранных революционных писателей.

В каждом номере „Юного пролетария“ — фельетоны, очерки по злободневным вопросам комсомольской работы, стихи, рассказы и т. д. При „Юном пролетарии“ издается двухнедельная газета комсомольской сатиры и юмора.

„ЮНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“ дает своим подписчикам приложения: книги литературно-художественные и по злободневным вопросам комсомольской работы.

НО ЭТОГО МАЛО — читать „Юный пролетарий“.

НАДО самому участвовать в работе журнала.

КОМСОМОЛЬЦЫ! МОЛОДЫЕ ЛИТКРУЖКОВЦЫ!

Редакция „Юного пролетария“ ждет ваших материалов: очерков, фельетонов, рассказов о быте, о произв. борьбе рабочей молодежи.

За справками обращайтесь в редакцию — Ленинград, просп. 25 Октября, 28. Дом Книги, 5-й этаж, комн. 61. Тел. 68-17.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ:

С июля месяца до конца 1931 года — 1 р. 40 к., на 3 месяца — 75 к.

С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

8 книг литературно-художественных и по злободневным комсомольским вопросам с июля месяца до конца 1931 года — 3 р. 60 к., на 3 месяца — 1 р. 80 к.

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ во все отделения, магазины, филиалы и киоски Книгоцентра, уполномоченным, снабженным соответствующими удостоверениями, и на почту.

50 коп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1931 г. НА ЖУРНАЛЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧН. ЖУРНАЛ

Год издания 4-й

Журнал выходит раз в мес

ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ЮНЫХ ПИОНЕРОВ

Подписная цена:

на 1 год	3 р. 20 к.
на 6 мес.	1 р. 60 к.
на 3 мес.	— 80 к.
Отдельный номер. . .	30 к.

Ответственный редактор И. Ра
РЕДКОЛЛЕГИЯ: М. Кобяков, Н. Була
И. Разин, Г. Краснощеков, Н. Соль
При журнале имеется постоянная КОНСУЛЬТА
по вопросам работы юннатов. : : : : : : : : :

Единственный научно-технический популярный журнал для подрос

Знание-сила

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО
ДЕТСКИХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ

Год издания 6-й

Юный ф
Юный физик. Юный химик. Юный мас
Самодельное оборудование мастерской и лаборатории. Задачи и опы

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год — 4 р. 20 к., на 6 мес. — 2 р. 10
на 3 мес. — 1 р. 05 к. Отдельный номер — 20

Подписку направлять во все отделения, магази
филиалы и киоски Книгоцен
уполномоченным, снабженн. соответств. удостоверениями, и на по